

Виссарион Белинский

Его жизнь и литературная деятельность



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [М. А. Протопопов](#)
 -
 - [Введение](#)
 - [Глава I. Детство Белинского](#)
 - [Глава II. Белинский в гимназии](#)
 - [Глава III. Белинский в университете](#)
 - [Глава IV. Начало литературной деятельности Белинского](#)
 - [Глава V. Жизнь и деятельность Белинского в Москве](#)
 - [Глава VI. Жизнь и деятельность Белинского в Петербурге](#)
 - [Заключение](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
-

М. А. Протопопов

**Виссарион Белинский. Его жизнь и
литературная деятельность**

Биографический очерк

**С портретом Белинского, гравированным
в Лейпциге Геданом**



Введение

«Чем больше узнаешь людей, тем больше начинаешь любить собак». Не нужно быть завзятым пессимистом, чтобы усмотреть в этом горько-шутливом изречении значительную долю правды. Поэт был, разумеется, не прав, когда говорил, что «кто жил и мыслил – тот не может в душе не презирать людей». Но, с другой стороны, несомненно, что и теперь, и прежде «жить» – значит разочаровываться, а «мыслить» – значит все яснее и яснее сознавать страшную многосложность жизни и, как результат этой многосложности, убийственную медлительность и затруднительность нашего развития.

Одно из самых тяжелых разочарований, которое может постигнуть человека, – это разочарование в нравственных свойствах тех людей, которых он привык уважать и любить за их умственные качества. «Можно быть честным деятелем, не будучи честным человеком» – этот софизм можно доказывать самыми разнообразными аргументами (как это и бывало, между прочим, в нашей журналистике), но он навсегда останется только софизмом, т. е. ловкой фальсификацией истины, дешевой ее имитацией. Против него протестует наше непосредственное нравственное чувство. Нет, кто не живет так, как сам учит жить, для кого *слыть* важнее, чем *быть*, у кого слово расходится с делом – тот не может быть настоящим крупным деятелем уже по одному тому, что его личность и его жизнь являются аргументом против его идей, против силы и жизненности его учения. «Учителю, очистишься сам» – это элементарное соображение тысячи лет существует и еще тысячи лет просуществует, ни на волос не утративши своей силы, потому что оно в одно и то же время продукт и простого здравого смысла, и естественного человеческого инстинкта. Каждое учение, имеющее хотя бы только посредственное и отдаленное отношение к нашему нравственному миру, непременно ставит тот или другой *идеал*, а всякий идеал влечет за собою *обязанности*, между которыми простейшей, первейшей и очевиднейшей является обязанность служить этому идеалу.

Сферы человеческой деятельности в высшей степени разнообразны, и, конечно, между ними нетрудно указать такие, к которым было бы напрасно прилагать нравственные критерии. Какое нам дело, например, до человеческой личности Эдисона? Что общего между нравственностью и электрическим фонарем? Или каким образом фонограф может вызвать с нашей стороны известные надежды и нравственные требования по

отношению к его изобретателю? Тем не менее почитателям Эдисона, конечно, было приятно узнать, что он с негодованием отверг просьбу североамериканского правительства найти удобный способ смертной казни посредством электричества. Законы органической жизни, открытые Дарвином, относятся не к этике, а к биологии, и дарвинизм, как *любая чисто научная теория*, лишен решительно всякого субъективного нравственного элемента, но все-таки нам приятно было убедиться, что личные нравственные качества творца этой теории вполне соответствуют его высокой умственной силе. Называйте как хотите это чувство или этот инстинкт, – чувством нравственной симметрии или инстинктом нравственной красоты, но факт то, что это чувство живет в нас и только в силу его нас печалит и отвращает безобразное соединение в одном и том же человеке высоких достоинств ума с дурными свойствами сердца. Но мы выбирали примеры, так сказать, нейтральные, безразличные, такие, в которых талант или гений человека слагался из специальных, чисто умственных, мозговых способностей и сил. Сколько бы мы ни собрали еще примеров той же категории – они все-таки будут представлять собою не более как исключение, а общее правило состоит в том, что духовная деятельность человека направленно воздействует одновременно на наши идеи и на чувства, наш ум и нашу нравственность. Во всех этих бесчисленных случаях фарисейский принцип: «Можно быть честным деятелем, не будучи честным человеком» – подвергается самому беспощадному разоблачению и осуждению. Кто поверит рабовладельцу и работоторговцу, декламирующим против рабства? Целомудрие – вещь прекрасная; но проповедь целомудрия, исходящая от человека, всласть «пожившего», звучит ложью и иронией. «Патриот», не находящий достаточно сильных слов для прославления прекрасных качеств своего народа и в то же время усиленно рекомендуемый всякого рода ежовые рукавицы по отношению к этому самому народу, не может возбуждать в нас ничего, кроме негодования и отвращения. Человек, построивший свое благосостояние ловкой эксплуатацией чужого труда и в то же время восстающий против принципов капитализма, конечно, не привлечет к себе умов и сердец, жаждущих справедливости. Проповедник, указывающий на бренность и ничтожность всех земных благ и в то же время напрягающий все свои способности для достижения именно этих будто бы презируемых им благ, только самых наивных людей увлечет своей проповедью. И не в том главная сущность дела, что все эти люди и деятели, противореча своими поступками своим словам, подрывают доверие к собственной личности, к своей искренности и убежденности, а в том, что они вредят

своим учением, роняют достоинство тех идей, которые берутся защищать. Истина – сама себе цель, а они превращают ее в средство; идея, теория, доктрина, преисполненные, быть может, глубочайшего смысла и огромного значения, являются в их руках только жалкими ширмами, под защиту которых не дела делаются, а делишки обдeldываются. Хороши идеи, если под их флагом можно провозить какой угодно товар! Хороши идеалы, если на практике их назначение сводится к тому, чтобы отводить наивным людям глаза! Хороша истина, если ею можно торговать «распивочно и на вынос»! Вот заключения, к которым рано или поздно приводит «честная» деятельность какого-нибудь фарисея, – заключения, в логическом смысле совершенно неверные, но в нравственном отношении почти неизбежные и во всяком случае вполне естественные. По адептам судят об учении, и разочарование в личности деятеля ведет к разочарованию в его идее. Это, конечно, не логика разума, но это – логика жизни, и в ней есть свой серьезный смысл. Да, искренний и бескорыстный обскурант менее вреден, нежели просвещенный Тартюф, которому свет дорог не потому, что он свет, а потому, что, по времени и обстоятельствам,

...с либерального
Направления больше барыш,
Нежели с места квартального.

Писателю более чем кому-либо необходимо возможно полное согласование своих слов со своей жизнью. Для писателя, для человека, обладающего бесценной привилегией обращаться сразу к тысячам и к десяткам тысяч слушателей, и рискованно, и преступно выступать с какими бы то ни было иными целями, кроме цели передать добытые им крупинки истины и добра. Сила писателя в таланте, но сила таланта прежде всего в искренности. Без компромиссов, без досадных и унижительных уступок не проживешь на этом свете; но отсюда еще слишком далеко до лицемерия, до отрицания на практике того, чему веришь и что исповедуешь в теории. Почему читатели всех стран и всех эпох интересуются даже мелкими и интимными подробностями жизни любимых писателей? Конечно, не в силу только одного праздного любопытства, а в силу сознательного или инстинктивного желания в живом примере их жизни почерпнуть новое и сильнейшее доказательство жизненности и истинности их учения. И благо тому писателю, который может безбоязненно предстать на этот последний суд, чьи труды были не делом карьеры, а делом жизни, чьи произведения –

не красивые «словеса лукавствия», а выражение *убеждения*, т. е. не только веры, но и знания – и не только знания, но и веры. Пусть триста лет посмертной славы можно отдать за хорошее пищеварение и пусть также «мертвые срама не имут». Но если живой будет предчувствовать, что его, хотя бы уже и мертвого, непременно постигнет «срам» изобличения; если писатель в тайниках своей совести будет сознавать, что он заслуживает не славы, а бесславия – то это уже достаточное возмездие, и наше чувство справедливости может считать себя удовлетворенным.

Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться —
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться!

Суд общественного мнения, так же как и суд истории, и суд совести, не налагают никаких формальных кар, но они страшнее суда уголовного для людей, не окончательно утративших всякое нравственное чувство.

К своей теперешней задаче мы приступаем с совершенно легким сердцем. Мы своим рассказом не убьем в читателе ни одного благородного верования; ни горечи, ни разочарования не испытает он, познакомившись с нравственной личностью нашего знаменитого критика. Наоборот: это одно из тех созерцаний, которые освежают душу и укрепляют веру – веру в человека и его достоинство. Безгрешен только Бог, но и между людьми есть праведники, без которых земля не стояла бы, и Белинский был одним из них – это мы заявляем с первого же шага и без малейших сомнений. Не литературные симпатии, не благодарные и почтительные чувства ученика к учителю одушевляют нас, – этого было бы мало, – а именно гордость и радость за человеческую природу, которая в лучших своих образцах представляется нам почти на высоте идеала. Если нам, как Гамлету, может быть временами действительно «страшно за человека», тем должны быть дороже для нас те редкие случаи, когда за человека утешительно и радостно. Жизнь Белинского полна увлечений, ошибок, заблуждений и иногда даже падений, но именно о людях этого типа и сказано, что им многое простится, потому что они возлюбили много. Не от равнодушия к истине, а наоборот, от слишком страстной и нетерпеливой жажды ее проистекали эти ошибки. Ни чувствовать, ни мыслить вполнину Белинский не умел и не мог. Его ум был слишком силен и деятелен для того, чтобы ограничиться пассивным восприятием идей, представлявшихся

ему истинными, без попытки самостоятельно развить и расширить эти идеи, а чувство слишком искренно и пламенно, чтобы утраститься каких бы то ни было логических результатов. «Упорствуя, волнуясь и спеша» (по прекрасному выражению Некрасова), он шел всегда вперед, и вот почему один неверный шаг в сторону от прямого пути заводил его в глухие труппы, куда за ним никто не осмеливался следовать. С проклятиями своему мнимому «невежеству», с ожесточением против самого себя он возвращался из этих трупп мысли, опять и опять принимался за свой труд пионера и кончил не унынием, не отчаянием, не падением, а тем, что овладел желанным талисманом, -

И с дерева неведомого плод,
Беспечные, беспечно мы вкушаем.

Такие искания не напрасны, *такие* заблуждения не суть заблуждения в собственном смысле этого слова, они – те искупительные жертвоприношения, которых, по слову поэта, просит судьба, потому что «даром ничто не дается». «Что есть истина?» Мы знаем глубочайший ответ, который последовал на этот иронический вопрос. Да, не в какой-нибудь отвлеченной формуле выражается истина, а в живой человеческой личности, в ее стремлении к добру, в ее любви к себе подобным, в ее готовности грехи нашего незнания, нашей ограниченности и нашего равнодушия искупить ценою собственного страдания. Проходят эпохи и поколения, меняются задачи, лозунги и знамена, падают устаревшие идеалы и выдвигаются новые – но в этом процессе смены относительных понятий и временных задач есть нечто абсолютное и непреходящее. Умирают личности, но живет человечество; тускнеют и выдыхаются идеи, но блещет вечным светом истина; падают идеалы, но не исчезает стремление к идеальному. Как жизнь заключается в процессе жизни, так истина заключается в процессе ее раскрытия. Кто подвигает людей на работу общую, кто своим примером, своей жизнью, своими идеями вызывает в нас деятельность ума и чувства – тот и есть достойный служитель истины, хотя бы прогрессирующая жизнь давно оставила за собою когда-то живые и широкие формы и пути его мысли. С этой высшей и общей точки зрения деятельность Белинского, со всеми ее отклонениями, увлечениями и переломами, находится вне всякого упрека. Но этого мало. Почти полвека прошло со времени смерти незабвенного писателя, но основная тема и основной тезис его литературно-критической

деятельности до сих пор сохранили свежесть самой животрепещущей современности. Фундаментальная идея воззрений Белинского была сформулирована им таким образом: *«Никто, кроме людей ограниченных и духовно малолетних, не обязывает поэта воспевать непременно гимны добродетели и карать сатирую порок; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов. Кто поет про себя и для себя, презирая толпу, тот рискует быть единственным читателем своих произведений»*. Сказано, как отрезано. Это основное требование критики Белинского выражено так категорически и сформулировано так отчетливо, что решительно не допускает каких-нибудь кривых толкований. Вся последующая деятельность преемников Белинского, имена которых и называть не нужно, была не чем иным, как развитием этого принципа, в применении, конечно, к текущим литературным явлениям. Само собой разумеется, что значение этого принципа отнюдь не эстетическое и даже не чисто литературное, а строго и непосредственно общественное: приглашать поэзию не чуждаться «вопросов времени» – значит, в сущности, призывать к этому само общество, а это, в свою очередь, значит развивать в нем сознание солидарности, будить в нем тот дух общественности, без которого нет ни прогресса, ни настоящей умственной жизни. Эстетика как метафизика искусства была для Белинского не самодовлеющей целью, а довольно хорошим, за неимением лучшего, средством.

Итак, вот о ком мы хотим рассказать читателю: не о мертвом, а о живом и даже до сих пор передовом человеке. Жизнь Белинского столько же бедна внешними событиями, сколько богата внутренним содержанием. Руссо сказал про себя, что он явится на Страшный суд, держа в руках свои «Confessions». Белинский может явиться на тот суд, не выбирая лучших произведений, ни от чего не отрекаясь, ничего не скрывая и не утаивая. Он писал, как думал, и жил, как писал. В этой полнейшей искренности не только его оправдание, но и его нравственная заслуга, помимо его умственных подвигов. Как писатель – он учил нас мыслить; как человек – он учил любить мысль и доверять ей. Белинский был натурой *альтруистической* – вот краткое резюме всей совокупности его нравственных свойств.

Глава I. Детство Белинского

Виссарион Григорьевич Белинский родился в Свеаборге в мае или феврале (это обстоятельство остается невыясненным) 1810 года. Как очень многие из русских писателей, он происходил из духовного сословия: дед Белинского был священником в селе Бельни Пензенской губернии Нижнеломовского уезда – откуда и фамилия Бельнский, переделанная в «Белинский» нашим критиком. «В жилах Белинского, – по замечанию Тургенева, – текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы». Дед Белинского – о. Никифор – был в своем роде замечательный человек, нисколько не отвечавший обычному типу сельского священника того времени (как, впрочем, и нашего): он вел уединенный и аскетический образ жизни, и память о нем сохранялась в семье как о праведнике. Совершенно в другом роде, но не в меньшей степени был замечателен и отец Белинского – Григорий Никифорович. Он кончил курс в Петербургской медицинской академии и служил лекарем во флотском экипаже, во время стоянки которого в Финляндии у него и родился первенец – сын Виссарион. В 1816 году он перешел на службу в родную Пензенскую губернию, а именно в Чембар, на должность уездного врача. Чем была наша провинция в первой четверти XIX столетия – хорошо известно хотя бы по разнообразной коллекции гоголевских типов. В Чембаре разыгралось нечто вроде «Горя от ума» в миниатюре: Григорий Никифорович Белинский был обвинен в безбожии и «вольтерьянстве» и должен был порвать с уездным обществом все связи, кроме официальных. Его жена – мать нашего критика – насколько можно судить по слишком скудным данным, сохранившимся о ней, наоборот, была во всех отношениях как раз под стать местному обществу, и Григорий Никифорович, лишенный поддержки и с этой стороны, прибег к исторически освященному и всероссийским опытом оправданному источнику утешения: он запил. Казалось бы, абютировав^[1] себя таким способом, он мог сойтись на дружеской ноге с забраковавшим его обществом, но сближения не последовало, очевидно, потому, что пьяный Белинский все-таки был гораздо умнее трезвых Бобчинских, Добчинских, Коробочек и Собакевичей. Наоборот, отношения еще более обострились: потеряв контроль над собой, Белинский-отец давал полную волю своему языку, и амбициозные Бобчинские дошли в своем озлоблении до того, что

Белинский отказывался ездить по приглашениям даже как доктор из опасения быть убитым. Относя часть этих опасений просто к галлюцинациям человека с расстроенными нервами, все-таки остается несомненной крайняя враждебность чембарского общества по отношению к Белинскому и полное одиночество последнего.

Понятное дело, что семейная жизнь, сложившаяся из таких элементов, не могла похвалиться внутренним миром. Тем не менее, из различных данных, собранных Пыпиным в его книге о Белинском, нет никакой возможности заключить, что нравственная атмосфера, в которой рос будущий критик, была исключительно плоха. Мы склонны даже думать как раз противоположное. Для того, кто имеет хотя бы отдаленное литературное понятие о строе нашей так называемой патриархальной семьи, представится в высшей степени необычайной картина отношений отца к сыну, нарисованная близким родственником Белинских – Д. П. Ивановым: Григорий Никифорович Белинский «с самой ранней поры даровитого ребенка не мог не замечать и остроумия, и страсти к чтению, и пытливой любознательности, с которой мальчик прислушивался к рассказам отца о прошедшем, к его суждениям о предметах, вызывающих размышление». «По словам Иванова, – прибавляет далее Пыпин, – между ними была симпатия, благодетельно действовавшая на обоих в крайних случаях, и, действительно, Виссарион еще юношей при домашних несогласиях стал повышать голос, высказывать отцу свои укоры, и отец выслушивал их, не негодовал, не оправдывался: очевидно, голос сына он принимал с уважением». Тем не менее Пыпин почему-то называет домашние отношения Белинского «тягостными», его «родной кров» – *неприятным*. Но неужели не отрадна эта дружеская близость между сыном и отцом? И неужели эта близость – не цветущий оазис в мертвенной пустыне тех отношений, понятий и взглядов, которые формулировались в классическом изречении – «мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю». Очевидно, Белинский-отец был на голову выше не только своего захолустного, но и вообще современного ему общества. Виссарион Белинский имел редкое счастье найти в своем отце не биологическую любовь только, но и внимание, и понимание. Ничто так не развивает и не возвышает детей – в особенности даровитых и самолюбивых – как разумно-дружеская близость с ними, отношение к ним как к равным, без непрестанного напоминания о своем авторитете, без злоупотребления своими формальными правами. Белинский имел это исключительное счастье, в сравнении с которым мелкие домашние стычки между родителями представляются совершенной безделицей. Не были светлыми,

как с отцом, но не были и мрачными, тяжелыми отношения Виссариона с матерью. Очевидцы говорят, что «мать была женщина добрая, но мало развитая, раздраженная и сварливая; ее образование ограничивалось посредственным знанием грамоты. Вся забота ее заключалась в том, чтобы прилично одеть и, в особенности, сытно накормить детей: когда Виссарион жил в Москве, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копчеными гусями, посылаемыми с „оказией“. Что тут дурного или ненормального? – спросим мы. Мать давала что могла: сытно кормила и тепло одевала своих детей, не претендуя на нравственное и умственное руководство, не залезая в душу и не насилуя совести своего даровитого сына. Делалось ли это по небрежности или в силу неясного сознания, что такое руководство – не ее ума дело, – результат во всяком случае был хорош: темные предрассудки матери остались без малейшего влияния на впечатлительного ребенка. Сколько людей могли бы позавидовать условиям детской жизни Белинского!.

[2]

Счастье продолжало благоприятствовать Белинскому и далее. Грамоте он выучился у вольнопрактиковавшей (тогда на этот счет было просто) учительницы, некоей Ципровской, о личности которой сведений не имеется, дальнейшее же обучение началось для него в чембарском уездном училище, только что тогда открывшемся. «На первое время, – рассказывает Пыпин, – весь педагогический штат заведения состоял из одного смотрителя, который был преподавателем по всем предметам. Этот смотритель был человек добрый и кроткий». «Вскоре, – рассказывает Иванов, поступивший в училище в одно время с Белинским, – прибавились новые учителя: один по Закону Божию, соборный священник; другой по русскому языку – тоже сын соборного священника, исключенный из семинарии. Этот последний был страстный любитель наказаний розгами, которые он употреблял иногда в виде „ласки“, наказывая ими через одежду, ради личной потехи, совершенно невинного и прилежного мальчика. Благородное негодование на этот вандализм Виссариона возбудило энергичные жалобы к смотрителю со стороны Григория Никифоровича». Надобно заметить, «что Виссарион никогда не был предметом этих диких любезностей бурсака-учителя и вмешался в дело не столько по участию к товарищам, которые были моложе его классом, но потому, что находил подобные поступки возмутительными. Преподавание в училище совершалось в духе патриархальной простоты. Учителя не затруднялись оставлять учеников на произвол судьбы, отправляясь домой для жертвоприношений Бахусу, а ученики в летнее время иногда целым училищем уходили купаться». Оставляя в стороне цветы восторженного

красноречия Иванова, вроде «благородного негодования на вандализм» со стороны одиннадцатилетнего «пузыря», нельзя не увидеть, что чембарское училище благодаря «доброй и кроткой» личности зрителя было лучше других училищ, в которых «страстные любители наказаний» были не исключением, а правилом среди учителей. Представители позднейшего поколения – Помяловский, которого высекли в бурсе *четыре*ста раз, или Решетников, которого только ленивый не бил и не истязал, – могли бы разве только подивиться на Белинского, даже вчуже не выносившего телесных наказаний. Но мало того, что училище, по крайней мере, не портило Белинского в нравственном отношении, оно помогло его умственному развитию, сообщило ему некоторые положительные познания. Директором училищ Пензенской губернии был в то время известный романист Лажечников, который оставил следующее любопытное свидетельство:

«В 1823 году, – рассказывает Лажечников, – ревизовал я чембарское училище. Новый дом был только что для него отстроен. Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною, между прочими учениками, мальчик лет 12, наружность которого с первого взгляда привлекла мое внимание. Лоб его был прекрасно развит, в глазах светился разум не по летам; худенький и маленький, он между тем на лицо казался старше, чем показывал его возраст. Смотрел он очень серьезно... На все задаваемые вопросы он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностью, будто, налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком), и отвечал, большей частью, своими словами, дополняя то, чего не было даже в казенном руководстве. Доказательство, что он читал и книги, не рекомендованные в классе. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывною цепью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило, также и то, что штатный зритель не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся немало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного зрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве свое собственное. Я спросил его, кто этот мальчик. „Виссарион Белинский, сын здешнего уездного штабс-лекаря“, – сказал он мне. Я поцеловал Белинского в лоб, с душевною теплотой приветствовал его, тут же потребовал принести мне какую-то книжку, на заглавном листе которой надписал: „Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении (или что-то подобное) от такого-то, тогда-то“. Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения, как

должную себе дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства».

Рассказ этот, немножко сентиментальный и, как водится во всех таких случаях, не обошедшийся без преувеличений («в глазах разум не по летам», «ястребок», «принял награду как дань» и пр.), кажется нам замечательным и правдивым в том отношении, что Лажечников в самом деле почувствовал симпатию к мальчику Белинскому: талант почуял талант, словесник инстинктивно узнал словесника. Дело в том, что любовь к литературе сказалась в Белинском чрезвычайно рано, по его собственному свидетельству. «Еще будучи мальчиком, – писал он впоследствии по одному поводу, – учеником уездного училища, я в огромные кипы тетрадей неумолимо, денно и нощно и без всякого разбору списывал стихотворения Карамзина, Дмитриева, Державина и прочих; я плакал, читая „Бедную Лизу“ и „Марьину рощу“; я писал баллады и думал, что они не хуже баллад Жуковского, не хуже „Раисы“ Карамзина, от которой я тогда сходил с ума».

Рассказ Лажечникова важен для нас еще в другом отношении. Белинский предстает в этом рассказе мальчиком несколько не робким, не забитым, не пригнетенным; а уж, казалось бы, перед кем и робеть ученику уездного училища, как не перед *самим* директором! Ясно, что домашняя обстановка, отношения с родителями были совсем не такого рода, чтобы развить в ребенке рабские свойства – робость и затаенное озлобление.

Мы настаиваем на этом выводе тем упорнее, чем настойчивее биографы Белинского стараются убедить читателя в противоположном. Правда, Белинский сам впоследствии говорил, что не вынес из своей семьи никакого светлого впечатления. Один из его ближайших друзей последнего времени рассказывает (вероятно, по воспоминаниям, слышанным от самого Белинского), что однажды, когда Белинскому было лет десять или одиннадцать, отец его, возвратившись с попойки, стал без всякого основания бранить сына. Ребенок оправдывался; взбешенный отец ударил его и повалил на землю. Мальчик встал переродившимся: оскорбление и глубокая несправедливость запали ему в душу».

Мы несколько не сомневаемся в возможности такого факта и допускаем его тем охотнее, что он, как говорится, вода на наше колесо. Именно потому этот случай и врезался Белинскому в память, что был он исключительным. Если бы Помяловского или Решетникова спросили: какое оскорбление или глубокая несправедливость особенно запали в душу им из времени их детства и юности, они испытали бы то затруднение, которое у французов называется *embarras de richesses*:^[3] какая, в самом деле, из *четырёхсот* пороков Помяловского была для него особым «оскорблением»

или какой из бесчисленных пинков, тычков и ударов, доставшихся Решетникову, был «глубокою несправедливостью»? А главное, нравственное и умственное влияние отца на сына, влияние на личность которого в данном случае никто не отвергает, достигается не пощечинами, а задушевными беседами, любовным раскрытием своего внутреннего мира. О пощечине сгоряча или спяна мы имеем от биографов подробный рассказ, да еще с риторико-трагическими прикрасами («мальчик встал переродившимся»); но об этих беседах, об этих уроках и рассказах мы не находим почти ни одного слова – точно их не бывало никогда. В заключение Пыпин приводит отрывок из позднейшего письма Белинского к Боткину: «Иметь отца и мать для того, чтобы смерть их считать моим освобождением, следовательно, не утратою, а скорее приобретением, хотя и горестным; иметь брата и сестру, чтобы не понимать, почему и для чего они мне брат и сестра, и еще брата, чтобы быть привязанным к нему каким-то чувством сострадания, – все это не слишком утешительно...»

Бесполезно, нам кажется, и говорить, что это письмо ровно ничего не доказывает. Белинскому было около тридцати лет, когда он писал это письмо; он давно уже на несколько голов перерос всех своих родственников, и весьма естественно, что он чувствовал к ним некоторую отчужденность, которая и выразилась в этом письме. Ведь речь идет в письме не об одних только родителях, а также о брате и сестре, на деспотизм которых не мог же жаловаться их старший брат!

Итак, мы признаем несомненным, что условия детской жизни Белинского не только не были исключительно тяжелы, а наоборот, стояли выше обычного в то время уровня воспитания. То живое чувство человеческого достоинства, которое всегда отличало Белинского, лучше всего доказывает, что его нравственное развитие совершалось правильным путем. Из семей деспотов и самодуров, каким представляют Белинского-отца, выходят молчалины, считающие своим долгом «угождать всем людям без изъятия», а не трибуны и не борцы. «Странная боязнь людей, которая заставляла Белинского робеть и страшиться встречи с незнакомыми», происходила частью просто от его несветскости, а частью – и большей – от того недоверия, которое вырабатывается в нас постепенно и естественно, путем тяжелых опытов и уроков жизни.

Глава II. Белинский в гимназии

Летом 1825 года Белинский поступил в пензенскую гимназию. Ему шел уже шестнадцатый год – возраст, в котором другие поступают не в гимназию, а в университет. Даровитый, начитанный, умственно развитый юноша в роли начинающего гимназиста – такое положение было слишком ненормальным, чтобы могло продолжаться долго, и, действительно, всего через три с половиной года после своего поступления Белинский был исключен из гимназии «за нехождение в класс».

Здесь мы уже можем отметить ту особенность духовной жизни Белинского, которая составляет очень характерную его черту. Умственное развитие Белинского намного опережало его научное образование. Фактические сведения, которыми располагал Белинский, были непропорциональны его идеям. Как всякий деятельный и сильный ум, Белинский умел с небольшими средствами достигать больших результатов, умел так хорошо и целесообразно использовать отрывочные, почти случайно схваченные факты, что общие выводы являлись как бы сами собой. Белинскому достаточно было овладеть хоть маленькой и побочной ниточкой, чтобы с ее помощью добраться до самой сердцевины предмета. Это был ум творческий, т. е. ум по преимуществу дедуктивный. Он не изучал предмет, а угадывал его. Он шел не от частного к общему, не от подробностей к ансамблю, не от частей к целому, а как раз противоположным путем.

Дальше мы увидим этому новые подтверждения, а пока достаточно отметить, что эта черта в шестнадцатилетнем гимназисте выражалась так же ярко, как и впоследствии в тридцатилетнем страстном гегельянце. Пензенская гимназия, по рассказу Лажечникова, бывшего одно время ее директором, как образовательное заведение отличалась совершенно невозможным характером. Первая сцена, которую вновь приехавший директор (т. е. Лажечников) увидел в гимназии – было «погребение kota мышами», как объяснили ученики: они целой толпой выносили на руках из класса мертвецки пьяного учителя русской словесности. Д. П. Иванов спорит с Лажечниковым, доказывая, что пензенская гимназия была не хуже других русских гимназий, и в этом споре обе стороны правы: пензенская гимназия, конечно, была ниже всякой критики и ни на волос не ниже установившегося типа гимназии. Белинскому, однако, в силу, вероятно, того, что на ловца и зверь бежит, даже среди преподавателей-«котов»

удалось встретить человека именно такого, какой ему был нужен в этом фазисе его умственного состояния. Это был учитель естественной истории, преподававший в то же время и словесность в старшем классе, М. М. Попов – человек, по всем признакам, недюжинный. Он намного пережил Белинского и кончил свою карьеру «благополучным россиянином», в крупном чине, после долгой службы, не имеющей ничего общего с «народным просвещением»; но это обстоятельство, конечно, мало изумит читателя, имеющего надлежащее представление о свойствах русской жизни вообще и той эпохи в особенности. Во всяком случае, в описываемое время Попов был гораздо более образованным, но столь же пламенным энтузиастом, как и Белинский, и между ними установилась самая прочная и – для Белинского – в высшей степени плодотворная связь, основанная на одинаковости умственных стремлений. Попов оставил рассказ об этом времени, один из лучших рассказов для характеристики Белинского по тому духу правды, искренности и простоты, который его отличает. Видно, что этот тайный советник горячо любил Белинского и понимал нашего великого писателя лучше и яснее, нежели многие из так называемых друзей Белинского. Приведем характерные места из его рассказа. «Белинский, несмотря на малые успехи в науках и языках, не считался плохим мальчиком. Многие мимоходом запало в его крепкую память; многое он понимал сам, своим пылким умом, еще больше в нем набиралось сведений из книг, которые он читал вне гимназии. Бывало, поэкзаменуйте его, как обыкновенно экзаменуют детей, – он из последних, а поговорите с ним дома, по-дружески, даже о точных науках – он первый ученик. Он брал у меня книги и журналы, пересказывал мне прочитанное, судил и рядил обо всем, задавал мне вопрос за вопросом... По летам и тогдашним отношениям нашим, он был неровный мне; но не помню, чтобы в Пензе с кем-нибудь другим я так душевно разговаривал, как с ним, о науках и литературе. Домашние беседы наши продолжались и после того, как Белинский поступил в высшие классы гимназии. Дома мы толковали о словесности; в гимназии он с другими учениками слушал у меня естественную историю. Но в Казанском университете я шел по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе, что иногда происходило в классе естественной истории, где перед страстным, еще молодым в то время учителем сидел такой же страстный к словесности ученик. Разумеется, начинал я с зоологии, ботаники или орнитологии и старался держаться этого берега, но с середины, а случалось, и с начала лекции, от меня ли, от Белинского ли, Бог знает, только естественные науки

превращались у нас в теорию или историю литературы. От Бюффона-натуралиста я переходил к Бюффону-писателю, от Гумбольдтовой географии растений к его „Картинам природы“, от них к поэзии разных стран, потом... к целому миру в сочинениях Тацита и Шекспира, к поэзии в сочинениях Шиллера и Жуковского. А гербаризация? Бывало, когда отправлюсь с учениками за город, во всю дорогу, пока не дойдешь до пасеки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рекой Пензой, Белинский пристаёт ко мне с вопросами о Гёте, Вальтере Скотте, Байроне, Пушкине, о романтизме и обо всем, что волновало в то доброе время наши молодые сердца».

Все это было как раз то, что требовалось Белинскому. Эти беседы-лекции, бессистемные, беспорядочные, но горячие и содержательные, приносили Белинскому несравненно больше пользы, нежели самое исправное зазубривание, что какой-нибудь *ursus arctos*^[4] принадлежит к такому-то виду и такому-то семейству и прочее, и прочее. Тип так называемых «первых учеников» наших низших, средних и высших училищ хорошо всем известен. Это мальчики или юноши с превосходною памятью и с чрезвычайно пассивным, ленивым умом, с огромным прилежанием и без малейших признаков живой любознательности. Они «назубок» знают по Востокову, что «грамматика есть руководство к правильному употреблению слов в разговоре и письме», – и двух строк не напишут без ошибки; на полный балл с плюсом расскажут об *ursus*'е и не сумеют описать человеку медведя.

Белинский был юношей совсем другого закала. Попов с большой проницательностью подметил в нем эту черту умственной самостоятельности и самостоятельности и таким образом характеризовал ее: «Белинский и в то время не скоро поддавался на чужое мнение. Когда я объяснял ему высокую прелесть простоты, поворот к самобытности и возрастание таланта Пушкина, он качал головой, отмалчивался или говорил: „Дайте подумают, дайте еще прочту“. Если же с чем он соглашался, то, бывало, отвечал со страшной уверенностью: „Совершенно справедливо“. Слишком ясно, что даровитому юноше нечего было делать в гимназии. Ни зубрить учебники, ни „погребать кота“ Белинский был не в состоянии, и он совершенно логично перестал посещать гимназию, которая, в свою очередь, тоже вполне логично исключила его из своих недр „за нехождение в классы“.

Иванов говорит на этот счет следующее: «Назвать Белинского плохим учеником было невозможно, подозревать его в лени и нерадении было бы

грехом: ни одна минута не пропадала у него даром: он или читал, или списывал что-нибудь в тетрадь, или беседовал с дельными людьми, или предавался в одиночку размышлениям. Чем же объяснить охлаждение его к учению и преждевременный, до окончания курса, уход из гимназии? Все это объясняется очень простой причиной: еще в 1828 году Белинский задумал поступить в университет».

Такие объяснения ровно ничего не объясняют. Неужели для юноши, «задумавшего поступить в университет», логично и естественно прежде всего забросить гимназическую науку? И неужели преуспевавшие товарищи Белинского по гимназии преуспевали потому, что не мечтали об университете? Белинского, конечно, манил университет как центр серьезной умственной деятельности, но его «нехождение в классы» объясняется, во-первых, свойствами гимназической науки, гимназической «учебы», во-вторых – особенностями умственной организации Белинского.

Пыпин прекрасно и совершенно справедливо поясняет от своего лица эту существеннейшую сторону дела. «Интерес к литературе, – пишет он, – т. е. интерес к поэтическому, изящному (мы сказали бы: поэтическому и философскому. – *Авт.*) был у Белинского таким господствующим, что поглощал всю его умственную энергию; уже с этих пор у него не было охоты к сухим и точным изучениям: он отдавался только тому, что затрагивало его идеальные интересы, возбуждало его энтузиазм. Оттого – «нехождение в классы» в гимназии, «нерадение» в университете. Это вовсе не была лень: напротив, он был чрезвычайно деятелен в том, что его занимало; впоследствии он мог работать до изнеможения. Нет спора, что эта односторонность очень вредила ему, ограничивая круг его сведений, в чем его так часто упрекали; но такова была его натура: он искал живого содержания, которое разрешало бы волновавшие его нравственные вопросы, питало бы его потребности изящного. Самые стремления его носили поэтический склад – оттого они и требовали поэтических образов и картин; отрасли знания, не касавшиеся идеальных вопросов жизни и нравственности, не привлекали его».

Ясно после этого, что, если бы Белинский и не «задумал поступить в университет», он в гимназии все равно не удержался бы и благополучного окончания курса в ней не удостоился бы.

Из других серьезных эпизодов жизни Белинского-гимназиста нужно остановиться на его отношениях к кружку семинаристов, с которыми он жил на одной квартире, и на его возникшей любви к театру.

«Совместное житье с семинаристами, – говорит Иванов, – было благотельно для нас во многих отношениях. Видя перед своими глазами

суровую, полную патриархальной простоты жизнь этих закаленных в нужде тружеников школьного учения, умевших довольствоваться самыми малыми средствами, мы невольно учились безропотному перенесению житейских невзгод, мужали и крепили духом, запасались той силой, без которой невозможна никакая борьба ни с самим собой, ни с жизнью. Немалую пользу приносили Белинскому оживленные споры и беседы семинаристов о предметах, касавшихся философии, богословия, общественной и частной жизни; при этих спорах он не всегда был только простым внимательным слушателем, но принимал в них и сам деятельное участие; уже здесь изощрялась его диалектическая сила. Семинаристы, жившие с нами, считали себя в литературных познаниях ниже Белинского и настолько доверяли его вкусу, что нередко просили почитать им первые критические наброски. Белинский, бывало, читал им вслух статьи из добытых им журналов, сообщал свои мнения, делился впечатлениями, – особенными участниками этих бесед были двое из семинаристов, очень даровитые люди». Относительно любви к театру тот же Иванов говорит: «Самое лучшее, соединявшее все вкусы, удовольствие доставлял театр; страсть к нему не была исключительной принадлежностью одного Белинского; она в равной степени овладевала всей учащейся молодежью». Белинский приберегал деньги на театр, делал займы ради той же цели, – прибавляет Пыпин, – и вообще его любовь к театру, не будучи его исключительной принадлежностью, была исключительна по своей силе и страстности. «Театр! Любите ли вы театр так, как я люблю его, т. е. всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!» – вот как писал Белинский, несколько лет спустя, в своей знаменитой статье «Литературные мечтания».

Таким образом, годы, проведенные Белинским в пензенской гимназии, были в узкопрактическом смысле временем потерянным, но по своему внутреннему значению этот период его жизни должен быть отнесен к числу наиболее замечательных. Это был период самой усиленной умственной работы, хотя и в стороне от «патентованной» науки и без всякой помощи с ее стороны. Не школа, а жизнь формировала Белинского; не учебники, а книги; не учителя, а живые люди способствовали его образованию и развитию. Беседы с молодым даровитым учителем, споры и разговоры в товарищеском кружке семинаристов, чтение и, наконец, театр – вот где

была истинная школа Белинского, вырабатывавшая в нем не только взгляды и идеи, но и сообщавшая ему положительные знания: разве знание русской литературы – не научное знание? Образ будущего «неистового Виссариона» уже ясно проглядывает в скромной фигурке провинциального гимназиста: это «святое недовольство», эта независимость и смелость мысли, это отвращение и презрение к торным, рутинным путям и, наконец, эта неприспособленность к жизни, неумение ладить с ее практическими сторонами и вопросами – все это, только еще в большей степени, мы найдем и в знаменитом критике. У цельных и чистых натур, какова была натура Белинского, могут быть крутые и тяжелые умственные переломы, но в нравственном смысле они всегда остаются верными себе.

Глава III. Белинский в университете

В конце лета 1829 года Белинский, выдержав нетрудный экзамен, поступил в Московский университет. Ему, по его словам, только «с большим грехом удалось съехать» из родного городка, где он жил, после исключения из гимназии, на иждивении у родителей. О своем поступлении он извещал родных в восторженных выражениях: «С живейшею радостью и нетерпением спешу уведомить вас, что принят в число студентов императорского Московского университета. Меня не столько радует то, что я студент, сколько то, что сим могу доставить вам удовольствие. Я, со своей стороны, сделал все, что только мог сделать: я перед вами оправдался. Тем более меня радует и восхищает принятие в университет, что я оным обязан не покровительству и стараниям кого-нибудь, но собственно самому себе. Хотя Лажечников и просил обо мне двух профессоров, но его просьба потому осталась недействительна, что в то время, когда я держал экзамен, вместо них другие были назначены экзаменаторами».

Тем не менее Белинский, к полноте своего благополучия, был принят в число казенных студентов, чем просто и легко разрешался мучительный вопрос о материальных средствах. Под впечатлением этой удачи Белинскому все представлялось в розовом свете. «Нумера наши, – писал он домой, – скорее сказать, отлично хороши; полы крашенные, окна большие, чистота необыкновенная. Столы (в столовой) всегда покрываются скатертями, и для всякого студента – особенный прибор. В отношении свободы у нас очень хорошо. Покуда все хорошо». Не более, однако, как через год после этого письма Белинский писал о «казенном коште» следующее: «Я теперь нахожусь в таких обстоятельствах, что лучше бы согласился быть подьячим в чембарском земском суде, нежели жить на этом каторжном, проклятом казенном коште. Если бы я прежде знал, каков он, то лучше бы согласился наняться к кому-нибудь в лакеи и чищением сапог и платья содержать себя, нежели жить в нем». Ни большие окна, ни крашенные полы, ни скатерти на столах не подкупали уже нашего студента и не могли смягчить суровость его отзыва. В чем же было дело?

Дело было в том, что Московский университет того времени был не чем иным, как гимназией высшего ранга. Если пензенские гимназисты занимались «погребением котов», то нисколько не лучшими делами занимались и тогдашние студенты Московского университета. Так, однажды, когда один профессор, читавший лекции по вечерам, должен был

прийти в аудиторию, студенты, закутавшись в шинели, забились по углам ее, слабо освещенной лампою, и как только профессор появился, запели заунывно: «Се жених грядет в полунощи». В другой раз на лекции к тому же профессору принесли воробья и во время занятий выпустили: воробей принялся летать, а студенты, как будто в негодовании на нарушение порядка, принялись толпою ловить его. Нетрудно понять, какие чувства питали к таким профессорам умственно развитые студенты и, в особенности, Белинский, у которого как раз с этим «женихом в полунощи» произошло однажды в аудитории курьезное столкновение. Профессор, в разгаре объяснений, вдруг обратился к Белинскому: «Что ты, Белинский, сидишь так беспокоенно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?» – «Вы остановились на словах, что я сижу на шиле», – ответил Белинский. Профессор не понял едкой иронии и, снисходя к наивности студента, продолжал объяснения. Один из университетских деканов на вопрос – по какому руководству он будет читать, отвечал, что будет читать по Пленку – «умнее Пленка-то не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное руководство». Когда однажды при том же профессоре стали хвалить молодого преподавателя, только что возвратившегося из-за границы, он заметил: «Ну, не хвалите прежде времени, проживет с нами, так поглупеет». Все это факты, но если бы это были не факты, а только анекдоты, то и в таком случае они имели бы для нас значение: история может преувеличивать, но не может сочинять, и на забытых мертвецов никому нет надобности клеветать.

После этого разочарование Белинского в университете становится совершенно понятным. Хороша была университетская наука, но не хуже были и университетские нравы, и университетские порядки и обычаи. В письме к родителям Белинский рассказывает один эпизод из своего личного университетского опыта: «Как только я приехал, – пишет Белинский, – то ректор призвал меня в правление и начал бранить за то, что я поздно приехал. Этим я обязан Перевощикову, который тогда очень помнил меня и отрекомендовал ректору и Щепкину. Когда ректор говорил со мною, то он (Перевощиков) беспрестанно кричал, что меня надобно выгнать из университета. Наконец ректор в заключение спектакля сказал: заметьте этого молодца; при первом случае его надобно выгнать. Перед окончанием холеры я не ночевал ночи две или три дома. Прихожу к Щепкину за одним делом, и он начинает меня ругать: говорит, что меня за это он отдаст, как какого-нибудь каналью, в солдаты и, наконец, с презрением начал выгонять из своих комнат... Надеюсь не сорваться с

казенного кошта, я дал себе клятву все терпеть и сносить, и потому ничего ему не сказал...» Такие «пензенские» условия университетской жизни привели к соответственным результатам, и с Белинским повторилась прежняя история: он отшатнулся от официальной науки и снова обратился к испытанным источникам для утоления жажды знаний. Между студентами составилась кружок, о котором Белинский писал в Чембар: «Для рассеяния от скуки я и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение». Он близко сошелся с П.Я. Петровым, впоследствии профессором Московского университета. «Мы, – писал Белинский, – часто бываем вместе, судим о литературе, науках и других благодарных предметах и всегда расстаемся с новыми идеями. Вот дружба, которою я могу по справедливости хвалиться. С П.Я. Петровым я в первое свидание не говорил ни слова, во второе поспорил, а в третье подружился. Что это за человек! Какие познания! Какие способности!» Чтение и, наконец, театр, на сцене которого в то время подвизались такие артисты, как Щепкин и Мочалов, восхищавшие Белинского до последней степени восторга (Щепкин – «необыкновенный гений», Мочалов – «не человек, а дьявол» – вот как отзывался о них Белинский), довершали содержание той духовной пищи, которою он питался. Он «как на шиле» сидел в аудиториях профессоров, в обществе которых, по их собственному справедливому признанию, можно было только «поглупеть»; но ум его работал неутомно – и эта работа шла впрок. Старый гимназический учитель Белинского – Попов, проездом через Москву, виделся с ним и вынес из этого свидания наилучшее впечатление: «Ум его возмужал; в замечаниях его проявлялось много истины. Там (в Москве) прочли мы только что вышедшего тогда „Бориса Годунова“. Сцена „Келья в Чудовом монастыре“, на своем месте, при чтении всей драмы, показалась мне еще лучше. Белинский с удивлением замечал в этой драме верность изображений времени, жизни и людей, чувствовал поэзию в пятистопных безрифменных стихах, которые прежде называл прозаическими; чувствовал поэзию и в самой прозе Пушкина. Особенно поразила его сцена „Корчма на литовской границе“. Прочитав разговор хозяйки корчмы с собравшимися у нее бродягами, улики против Григория и бегство его через окно, Белинский выронил книгу из рук, чуть не сломал стул, на котором сидел, и восторженно закричал: „Да это живые: я видел, я вижу, как он бросился в окно!“... В нем уже проявился критический взгляд... В литературно-студенческом кружке, о котором мы говорили выше, Белинский выступил как автор трагедии чрезвычайно романтического характера. Как

литературное произведение и притом в роде, совершенно не свойственном таланту Белинского, эта трагедия никакого значения не имеет. Но общественно-исторический смысл ее очень серьезен. Насколько можно судить о ней по сохранившемуся отрывку, она живо напоминает собою юношеские драмы Лермонтова; та же горячность чувства при неумении найти для его выражения надлежащую форму, та же отвлеченность и благородство идеалов и – что всего важнее – тот же страстный протест против крепостного права – главного зла тогдашней жизни. Напомним читателю, что драмы Белинского и Лермонтова написаны за шестьдесят лет до нашего времени, когда, по мнению одних, крепостное право было чуть ли не божественным установлением, по мнению других – исторически сложившимся государственным „устоем“, по мнению третьих – едва ли устранимым злом и только во мнении численно ничтожного меньшинства, к которому принадлежали Белинский и Лермонтов, крепостное право являлось в его настоящем свете. Две-три тирады персонажей трагедии дадут читателю ясное представление о характере произведения Белинского. Вот, например, рассказ старого слуги о положении крестьян после смерти барина: „Как только он скончался, то барыня так начала тиранствовать над нами, что не дай, Господи, такого житья лихому татарину ни здесь, ни на том свете. И была, как собак, и отдавала в солдаты, и пускала по миру, отнимала хлеб, скот, осматривала клетки, ломала коробки, обирала деньги, холст; кто малость в чем-нибудь провинится, так ушлет в дальние вотчины. Да всего и пересказать нельзя. На каторге колодникам лучше житье-то, чем нам, грешным, у барыни“. Герой трагедии изливает свои чувства в следующем монологе: „Неужели эти люди для того только рождаются на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?... Кто дал это гибельное право одним людям поработать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище – свободу? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества? Господин может, для потехи или рассеяния, содрать шкуру со своего раба, может продать его, как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!.. Милосердый Боже! Отец человеков! Ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?“ Трагедия Белинского во всей русской литературе имела только один прецедент, равный ей по силе и искренности чувств, – это знаменитая книга Радищева, с которой как раз около этого времени (в 1833 году) раздражительно полемизировал величайший русский

поэт. Тем, конечно, трогательнее простодушная наивность Белинского, мечтавшего, что трагедия его не только без всякого неудобства может появиться в печати, но и доставить ему „известность и деньги“, и именно „шесть тысяч рублей“. Почему именно шесть, а не пять или семь? Это осталось тайной глубоких расчетов нашего великого практика. Благоразумные люди, начиная с Лажечникова и кончая чембарскими знакомыми, пророчили Белинскому фиаско, но их предостережения, конечно, остались без последствий: нужно было, чтобы сама действительность, непререкаемая и безжалостная, дала Белинскому свой тяжеловесный урок. За этим дело не стало, и вот как Белинский рассказывал об этом.

«Мое сочинение не может оскорбить чувства чистейшей нравственности, и цель его есть самая нравственная. Подаю его в цензуру – и что же вышло?... Прихожу через неделю в цензурный комитет и узнаю, что мое сочинение цензором Л.А. Цветаев (заслуженный профессор, статский советник и кавалер). Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь; секретарь, вместо ответа, подбежал к ректору, сидевшему на другом конце стола, и вскричал: „Иван Алексеевич! Вот он, вот – Белинский!“ Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензор, в присутствии всех членов комитета, расхвалил мое сочинение и мои таланты как нельзя лучше, оно признано было безнравственным, бесчестящим университет, и о нем составили журнал!.. Каково это!.. Я надеялся на вырученную сумму откупиться от казны, жить на квартире и хорошенько экипироваться – и все мои блестящие мечты обратились в противную действительность, горькую и бедственную. Лестная сладостная мечта о приобретении известности, об освобождении от казенного кошта для того только ласкала и тешила меня, доверчивого к ее детскому легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всех надежд моих, я совершенно опустил: все равно – вот девиз мой...»

Это было еще не все. Трагедия была представлена в цензуру Белинским в 1831 году, а в середине 1832 года он был исключен из университета «за неспособность». Есть ли причинная связь между этими двумя фактами? Сам Белинский говорил об этом глухо: «Я, – писал он домашним, – не буду говорить вам о причинах моего исключения из университета: отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства. Ныне времена мудреные и тяжелые: подобные происшествия очень нередки...»

Пыпин, несмотря на свою осторожность, говорит о деле довольно решительно: «Окончательной причиной исключения из университета послужила, как говорят, его трагедия. Цензурные власти были тогда из университетского начальства, и неблагоприятное мнение, составленное об авторе пьесы, отразилось на студенте. Цензурная власть и ректор Двигубский пригрозили студенту за дерзкие мысли. Хотя Белинский написал после того домой, что все улаживается, впечатление от его „дерзости“, вероятно, сохранилось, и по всем отзывам, какие нам приходилось читать и слышать, трагедия послужила причиной исключения его из университета».

На наш взгляд, не может быть и сомнения, что если трагедия Белинского не была *поводом* к исключению, то наверное была его самой серьезной *причиной*. Не знаем, существовала ли тогда «неблагонадежность» как термин, но, конечно, существовала как понятие, и вот за эту-то неблагонадежность, замаскированную «неспособностью», Белинский и подвергся столь тяжкой каре. Впрочем, Белинский и действительно был «неспособен» к самой главной науке – науке *жизни*, в чичиковском значении этого слова. В программу университетских знаний эта наука не входила, но, тем не менее, стояла на первом плане. Немножко уступчивости, немножко сдержанности, немножко, говоря щедринским языком, «теплоты чувств» со стороны Белинского – и все обошлось бы прекрасно. Он мог писать трагедии с какими угодно тенденциями, но пугать и ошеломлять ими старичков, боявшихся не только каких-нибудь новых идей, но и новых учебников – это, конечно, было донкихотством. Но в том-то и горе донкихотов, что они *не могут*, даже если бы и хотели, хоть на минуту и хоть немножко помолчалинствовать. Они «не способны» на это, как не способны есть кирпичи и ходить вниз головой. «Не ко двору» Белинский был в своем уездном городишке; «не ко двору» в гимназии, «не ко двору» в университете, да не ко двору и в русской действительности, как увидим дальше: его настоящее место было в храме идеала, у подножия богини Истины, и он бывал странен, нелеп и смешон, выходя оттуда, в своем молитвенном, благоговейно-страстном настроении, на наш базар житейской суеты. Причина всех причин и всех поводов к его исключению лежала именно здесь, в несоединимых свойствах нашей жизни и его нравственной природы. Человек совершенно посторонний Белинскому в житейском смысле, но близкий к нему по некоторым нравственным свойствам, – князь Одоевский – рассудил его дело таким образом: «У нас Белинскому учиться было негде – рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей

части наших профессоров порождала в нем лишь презрение; нелепые преследования – неизвестно за что – развили в нем желчь, которая применилась в его своеобычное философское развитие и доводила его бесстрашную силлогистику до самых крайних пределов».

«*Неизвестно за что...*» Это суждение такого же идеалиста «не от мира сего». Напротив, очень понятно и очень известно *за что*: за «неприспособленность», за несоответствие условиям и характеру жизни. Быть гонимым и изгоняемым (а впоследствии – прославляемым) – это судьба очень многих белинских. Что касается *нашего* Белинского, то пароксизм отчаяния, овладевшего было им («я совершенно опустился: *все равно* – вот девиз мой»), прошел скоро, и он, ровно через год после исключения из университета, писал своим родителям: «Я нигде и никогда не пропаду, несмотря на все гонения жестокой судьбы: чистая совесть, уверенность в незаслуженности несчастий, несколько ума, порядочный запас опытности, а более всего некоторая твердость в характере – не дадут мне погибнуть. Не только не жалею на мои несчастия, но еще радуюсь им: собственным опытом узнал я, что школа несчастия есть самая лучшая школа. Будущее не страшит меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и, хотя с каким-то горестным чувством, вижу, что я ничего не сделал хорошего, замечательного, зато не могу упрекнуть себя ни в какой низости, ни в какой подлости, ни в каком поступке, клонящемся ко вреду ближнего...»

Глава IV. Начало литературной деятельности Белинского

В настоящей работе нашей, имеющей не критические, а биографические цели, мы не можем останавливаться на разборе литературных и общественных воззрений Белинского. Однако мы все-таки должны охарактеризовать их, и поэтому нам приходится сделать небольшой экскурс в сферу общих идей.

История умственного развития Белинского разделяется на три резко обозначенных периода. Первый период, литературным выражением которого явилась у Белинского его трагедия, заключается в «субъективно-нравственной» точке зрения, говоря выражением самого Белинского, в отвлеченной морализации, в «прекраснодушной войне с действительностью» (опять его выражение). Основная идея его трагедии – чисто моральная, и если тем не менее она имела общественный смысл, то это произошло не от намерений Белинского, а от свойств, присущих самому явлению. Белинский морализировал, но тем самым являлся обличителем крепостного права, противоречившего всякой морали. Мораль Ветхого Завета, запрещающая убивать, красть, лжесвидетельствовать, желать дом, скот, имущество ближнего своего, была в большом противоречии с крепостной моралью, а основная заповедь Нового Завета – любить ближнего как самого себя – была прямым и резким осуждением этой в то время господствовавшей морали. Таким образом, отнюдь не выходя из роли морализатора, Белинский, вольно или невольно, явился протестантом против действительности. Этим заключилась первая фаза его развития.

Очень много хороших людей (а женщины – почти все) навсегда остаются на этой почве абстрактных нравственных идеалов, и все различие (иногда очень серьезное, но все-таки не основное, не принципиальное) между ними обуславливается теми отношениями, в которых они реализуют свои идеалы в действительности. Одни из них вырабатывают возможную при данных практических условиях программу личного поведения; другие истощаются в призывах к покаянию и к самосовершенствованию; третьи карают порок в лице того или другого порочного индивида, типа, класса; четвертые где-нибудь в укромном уголке культивируют добродетель в сообществе двух с половиной единомышленников; пятые прямо указывают

на невозможность сближения между их идеалом и действительной жизнью и, опираясь на эту невозможность, отряхают прах от ног своих и отходят от нашей сутолоки и борьбы с сарказмом или с отчаянием, негодованием, проклятием, – следуя характеру и сообразно со своим темпераментом.

Нетрудно видеть, что эти тысячи различных путей, различных линий лежат все, говоря языком математики, в одной и той же плоскости. Человек должен идти направо, человек должен идти налево, он должен жить с людьми, он должен совершенствоваться в уединении, человек хорош, человек дурен, он – раб, он – царь, он – червь, он – бог, – все это совершенно различные речи, различные программы, различные пути и средства; но основание, корень корней их один и тот же: человек, личность, индивидуум, рассматриваемый не как часть великого целого и не как продукт жизни, а как самостоятельный нравственный мир, которому для того, чтобы мочь, нужно только захотеть. Все в этих теориях от личности исходит и к личности же возвращается. Человек дурен – что делать с ним? Убедить его, чтобы он стал лучше, зажечь в нем веру, укрепить его волю, возбудить его энергию, потрясти его сердце, очистить его душу и т. д., и т. д. – вот однообразно-разнообразные ответы всех индивидуалистов-моралистов. Ну, а если не хочется захотеть, как говорил Череванин Помяловского? Ну, а если я и рад бы в рай, да грехи не пускают? Если условия жизни, действующие в том же направлении, как и мои страсти, постоянно берут верх над моими добрыми намерениями?

Обращаясь к человеку, говоря о человеке, имея в виду человека, моралисты в большинстве случаев именно человека-то и забывают, живого человека, т. е. существо не только с волей, но и со страстями, не только с разумом, но и с предрассудками, со слабостями. Белинский-моралист мог бы с утра до вечера и с вечера до утра патетически восклицать: «Отец человеков! Твоя ли рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы!» – и предполагаемые «тигры» и ухом бы не повели на эти изобличения, потому что какие же они, в самом деле, тигры? Они – попечительные «отцы»; они – «даровые полицмейстеры»; они – люди по преимуществу «благородные». Они сами о себе так думают и, что гораздо важнее, о них так думает все общество, их так называют государство и закон. «Помилосердуйте, Виссарион Григорьевич, – мог бы ответить Белинскому какой-нибудь Собакевич, – за что вы так обидно бранитесь? Правда, я отдал в солдаты Неуважай-Корыто и посек недавно Елизавет Воробья, но это для их же пользы: Неуважай спился, а на казенной службе его вытрезвят, а Воробей – ехиднейшая бабенка, которая только языком

умеет работать. Не знаете вы наших деревенских дел, оттого так и горячитесь».

Старая и вечно новая история – эта холодная вода житейской логики и житейской прозы, умеряющая пыл всяких слишком категорических требований, всяких слишком односторонних и отвлеченных идеалов! Тем не менее Белинский, как и всякий моралист на его месте, положить оружие не мог, признать себя неправым был не в состоянии: пусть нет зверей, но наличность зверства все-таки не подлежит сомнению; пусть никто не «пьет, как воду» человеческие слезы, но как же отрицать, что эти слезы ручьями льются? Пусть нет виноватых, но разве нет вины? Но, с другой стороны, какая же это вина, в которой никто не виноват? Для Белинского, который по своей натуре был не холодным аналитиком, а пламенным борцом, – эти вопросы имели особенно важное значение: от него ускользал враг, с которым он должен был бороться и который ему был необходим как объект для нападений и изобличений – любимейшей формы его пропаганды.

Вопросы эти заполнили собою всю умственную жизнь Белинского, и он дал на них, в течение своей литературной деятельности, два резко между собою несходных ответа, содержание которых и составило сущность двух последних, упомянутых нами выше, фаз его развития. Белинский точнейшим образом проделал самолично весь тот умственный процесс, через который, согласно гегелевскому учению, должна пройти всякая идея: положение (тезис), отрицание (антитезис) и отрицание отрицания (синтез).

В миросозерцании Белинского этот процесс произошел в такой форме: *первая фаза* – индивидуальная мораль и нравственный закон в смысле верховного регулятора человеческих действий и отношений; *вторая фаза* – отрицание всякой морали как логический результат преклонения перед действительностью и ее разумом; третья и окончательная фаза – возвращение к морали в смысле идеала *общественной справедливости*, с вытекающею отсюда обязанностью реформировать действительность в духе этого идеала. Просим читателя никогда не упускать этого из виду, и каждый раз, когда зайдет речь о Белинском, когда он услышит похвалы или порицания ему, – пусть он осведомится, о *каком* именно Белинском говорится в данном случае. Да, о *каком* Белинском, потому что, в точном смысле этого слова, мы имеем не одного, а трех Белинских: Белинского *двадцатых годов* – отвлеченно-благородного проповедника общей человеческой морали; Белинского *тридцатых годов* – проповедника не только необходимости, но и разумности *всего* существующего, а стало быть, и того, что противоречит всякой морали, раба и поклонника факта,

защитника каких угодно безобразий, раз они реализовались в действительности; наконец, Белинского *сороковых годов* – умственно и нравственно просветленного могучего деятеля, с верным критерием в руках, строго и отчетливо отделяющего истину от лжи, добро от зла, деятеля, дающего свою поддержку и санкцию тому лишь, что не только необходимо, но и нравственно справедливо.

Фактически переход Белинского от абстрактно-моральных воззрений к преклонению перед «разумной» действительностью совершился постепенно, и начало его нужно искать в студенческих, необыкновенно замечательных кружках, организовавшихся в университете во время пребывания там Белинского. Предоставим рассказать об этих кружках Пыпину.

«Два кружка, в которых собирались наиболее одушевленные юноши, образовались в одно время; но при общем идеализме совершенно расходились в направлениях. Один кружок с самого начала увлекался общественными теориями. Другой кружок, образовавшийся около Станкевича, первоначально воспитался прямо на философии, выслушанной у Павлова и Надеждина, и, увлекаемый заманчивой перспективой решений глубочайших вопросов человеческой мысли, отдался исканию этих решений, пренебрегая всем остальным как ничтожным в сравнении с этими всеобъемлющими вопросами. Оба кружка знали друг о друге, но между ними не было симпатии: мало понимая друг друга, одни считали своих противников фантазерами, бесплодными и бесчувственными к животрепещущим вопросам общества; те, в свою очередь, смотрели свысока на „политиков“ и пренебрегали мелким либерализмом. „Им не нравилось и наше почти исключительно политическое направление, – говорит современник, тогда враждебный кругу Станкевича, – нам не привилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их – сентименталистами и немцами“. Белинский, с самого начала увлекавшийся поэтическими и отвлеченно-моральными интересами, рано присоединился к кругу Станкевича; он встречал здесь те же стремления, и вместе с тем личность Станкевича произвела на него то привлекательное действие, влияние которого уцелело в Белинском на многие годы и которое Станкевич производил вообще на всех, с кем он сблизился».

Трудно, да и бесполезно, вообще говоря, судить о том, что было бы, если бы и т. д. В данном случае, однако, с большой долей уверенности можно сказать, что и для самого Белинского, и для нас, его почитателей, и для всей нашей литературы оказался спасительным тот факт, что слишком

горячий и никаких компромиссов' не переносивший Белинский очутился под примирительным влиянием кружка Станкевича.

Рано умерший Станкевич, к памяти которого Белинский и впоследствии относился с величайшим уважением, принадлежал к числу тех «прекраснодушных» личностей, которые живут не борьбою, а созерцанием борьбы. Тип этот давно известен и великолепно обрисован, и даже оценен почти две тысячи лет назад любимым учеником Христа: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (Апокалипсис). Станкевич был именно таким человеком: не холодным и не горячим, а «теповатым» человеком, около которого было отрадно светло и тепло горсточке людей, пользовавшихся счастьем его дружбы, но от которого, собственно, обществу не могло быть ни тепло, ни холодно. Как есть жрецы «красоты», для которых гравюра, картина, статуэтка важнее всех живых дел и живых вопросов; как есть фанатики юридической правды, для которых писаный закон важнее законов внутреннего сознания, точно так же есть и поклонники абстрактного, готовые воскликнуть: «Да восторжествует истина, и пусть погибает мир!» Станкевич принадлежал именно к разряду таких любомудров для любомудрия. Мы не решимся сказать, что ему было «верить, не верить – все равно, лишь бы доказано было умно». Нет, разумеется, верить, т. е. обладать (в субъективном смысле) истиною для него было приятнее, нежели не верить, т. е. сомневаться и искать. Но это был для него не вопрос жизни и смерти, как для Белинского, а вопрос нравственного комфорта и умственного спокойствия. Станкевичу было уютно и тепло в его теплице, и ничто не тянуло его на широкий вольный свет, на шумную улицу. Нравственные, внутренние импульсы были у этого добрейшего человека слишком вялы, чтобы подвинуть его на черный труд, на риск, на беспокойства и усилия, а внешних побуждений у него, человека богатого, не могло быть. Разумна или неразумна действительность, но, собственно, по отношению к Станкевичу она являлась не мачехой, как к Белинскому, а ласковой и любящей нянюшкой. Это обстоятельство не могло не действовать на Станкевича подкупающим образом, как бы он ни был сам по себе гуманен, искренен, чист. Станкевича и Белинского, их нравственные физиономии и их отношение к миру и к идеалам можно бы представить таким образом: «Действительность разумна или, по крайней мере, не глупа», – говорит Станкевич, аккуратно и спокойно укладывая в бумажник толстые пачки ассигнаций, только что полученных с оброчных имений. «Действительность разумна, – отрицать это могут только пошляки

– да здравствует разум, да здравствует действительность!» – «неистово» кричит Белинский изо всех сил своей больной груди, полуодетый, полуголодный, рискующий «каждый день умереть с голоду», по его собственному неложному признанию. Есть разница между такими отношениями к делу и есть разница между этими двумя людьми, из которых один философствовал, тайно потакая своим инстинктам, а другой философствовал явно во вред своим личным интересам. Если – в чем, впрочем, нельзя сомневаться – Станкевич имел на Белинского нравственное и умственное влияние, то это влияние имело характер некоторой политической фонтанели, очень полезной по времени, по месту и по обстоятельствам. Необходимо отметить еще следующее обстоятельство.

Незадолго до исключения Белинского в университете начал читать лекции Надеждин, еще ранее того заявивший о себе журнально-критическими статьями под псевдонимом Никодима Аристарховича Надоумко. Белинский усердно посещал его лекции, как прежде усердно читал статьи, – и многое из философских и литературных взглядов Надеждина произвело на Белинского сильное впечатление и было усвоено и переработано им. При появлении статьи Белинского «Литературные мечтания», – говорит Пыпин, – первое впечатление многих его товарищей было, что она написана самим Надеждиным: они встретили в ней много мыслей, уже знакомых им по статьям и лекциям этого профессора. Спросим теперь: кто такой и что такое был Надеждин? Это был человек сильного ума и большой эрудиции, но в нравственном отношении он принадлежал к тем «учителям», о которых давно сказано:

Учить, как жить, я пять тысяч беру;
Но жить, как учу, десяти не возьму.

Этим многое сказано. После изгнания из университета положение Белинского в материальном отношении было ужасно, и, в поисках работы, он в эту пору лично познакомился с Надеждиным, который не отказывал себе в низком удовольствии третировать его свысока, но помогал ему доставлением переводов каких-то пошлейших польдекоковских романов. Ясно, что у Надеждина, несмотря на весь его ум, не было и предчувствия о силах Белинского и его будущем значении, и он относился к нему, как к литературному чернорабочему. Как бы то ни было, идейное влияние Надеждина на Белинского было очень значительным, так что Пыпин

называет Белинского «прямым продолжателем» Надеждина.

Таков был умственный запас Белинского, когда (в 1834 году) он серьезно заявил о себе статьей «Литературные мечтания. Элегия в прозе», напечатанной в «Молве». Дебют «холодного» критика был блистателен. Статья написана с такой силой убеждения и с такой страстностью пафоса, что производит впечатление даже теперь. Панаев (воспоминания которого о Белинском вообще являются одним из надежнейших источников для ознакомления с личностью знаменитого критика) рассказывает о впечатлении, которое произвела на него эта статья при ее появлении: «Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором ее. Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня. Не оно ли, подумал я, это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?»

Что же это была за статья? Мы должны, насколько возможно, остановиться на ней, потому что в статье этой находятся те основные философские положения, которые потом Белинский развивал до крайних логических пределов, о чем впоследствии не мог вспомнить без стыда и негодования. Сущность этих положений, на первый взгляд, очень невинная, формулируется Белинским таким образом:

«Весь беспредельный прекрасный Божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи, проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать в свои светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы – пути млечные, а кровь – чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блестящую комету; она живет и дышит – и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчаньи ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения... Кружится колесо времени с быстротою непостижимую, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начала и веществ. Так идея живет: мы ясно видим это

нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидит, все держит в равновесии; за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чистоту и свежесть воздуха; в пустынях песчаной Аравии и Африки поселила верблюда и страуса, в пустынях ледяного Севера поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая; где же ее любовь? Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любви! Итак, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действие, а действие есть борьба; не забывай, что твое бесконечное высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с Богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я в чувстве беспредельного блаженства!.. Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?... Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь из выпадения, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу».

Стоит только немного вдуматься в этот отрывок, характеризующий всю статью, чтобы заметить то переходное состояние ума, которое переживал его автор. Если абсолютная идея выражает себя во всех без исключения явлениях, то все без исключения явления имеют совершенно одинаковое право на существование. Если можно поставить рядом рыканье льва и слезу младенца, то исчезает всякое различие между вещами не только в смысле физического бытия, но и в смысле нравственного достоинства. Если бы не было мрака – не существовало бы понятия света; мрак и свет – различные формы одной и той же сущности, различные проявления одной и той же «единой, вечной идеи». Поэзия Пушкина, военные поселения, «святыя чудеса запада» и крепостное право, – все это только грани одной и той же великой призмы. Все явления жизни – только конкретные выражения абсолютной идеи. А так как эта идея абсолютно разумна, то разумны и все ее эманации, т. е. вся действительность. Итак,

что действительно, то разумно, что существует, то и полезно, и мудро, и нравственно, и справедливо.

Как видит читатель, нам было достаточно немногих строк, чтобы от положения Белинского логически перейти к знаменитому положению Гегеля: до такой степени они близки между собою. Разумеется, такой логический и бесстрашный мыслитель, как Белинский, очень скоро сделал этот шаг, но в рассматриваемой нами статье он еще воздержался от него, потому что в нем не умер еще ветхий человек, Белинский-моралист. Такова мудрость этой идеи, – говорит Белинский, – где же ее любовь? На этот вопрос он отвечает совершенно в духе своей трагедии, – до повторения даже в мелочах, в метафорах («ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, пей кровь и слезы» и прочее). Индивидуально-нравственный идеал опять воздвигается перед нами и на этот раз совершенно некстати, потому что пантеистическая любовь, распространяясь на все живущее и на все существующее, исключает выбор, делает ненужным суд, сглаживает различие между благом и злом, красотой и безобразием: надо любить все, всех и за все. Итак, мудрость «идеи» найдена; любовь ее определена, Белинский забыл только поставить вопрос о третьем атрибуте: где же ее справедливость? Белинский додумался и до этого вопроса – но только уже впоследствии.

Глава V. Жизнь и деятельность Белинского в Москве

Скажем еще раз: с внешнебиографической стороны жизнь Белинского не представляет ни материала, ни интереса. Период пребывания Белинского в Москве может быть изложен в нескольких строках. Начал он свою литературную деятельность в «Молве», продолжал ее в «Телескопе» Надеждина. После запрещения «Телескопа» (за известную статью Чаадаева) редактировал «Московский наблюдатель» и писал в нем (с 1838 года), бедствовал в материальном отношении, болел и ездил для поправления здоровья на Кавказ; в октябре 1839 года уехал из Москвы в Петербург, получив приглашение сотрудничать в «Отечественных записках». Вот главные внешнебиографические пункты московской жизни Белинского, не представляющие собою, как видит читатель, ровно ничего замечательного или поучительного. Жизнь Белинского с внешней стороны была обыкновенным серым существованием русского литератора, у которого рядом с вопросами философии, искусства, идеалов идут вопросы о заработной плате, о безработице, о куске хлеба.

Но умственная жизнь была широким и могучим ключом, несмотря на узость рамок. Кружок, к которому все теснее и теснее примыкал Белинский и общепризнанным главою которого был Станкевич, все более и более углублялся в вопросы духа, улучшался качественно и возрастал количественно. Это был уже не студенческий кружок молодых людей, собиравшихся для совместного чтения хороших книжек и собственных «проб пера», – это было общество замечательных людей, связанных солидарностью воззрений и далеко опередивших свое время. В состав кружка, кроме Станкевича и Белинского, входили Константин Аксаков, Бакунин, Боткин, Кудрявцев, Грановский, Кетчер, Красов, Ключников, Строев, Катков, Ефремов. Никаких специальных, оговоренных уставом целей этот кружок не преследовал; он был простым результатом естественного тяготения друг к другу людей одинаковых понятий и одинаковой степени умственного развития. Нужно перенестись мыслью на многие годы назад, чтобы понять всю необходимость такого явления, как наши кружки тридцатых годов. Умственные запросы начали пробуждаться в обществе, но никаких путей и форм для удовлетворения этой потребности почти не существовало. Университеты находились в жалком

положении; журналистики не существовало. Интеллигентный человек был одинок, слаб, скоро падал духом, спивался... Так было, например, с Белинским-отцом, но так, к счастью, не было ни с Белинским-сыном, ни с его друзьями, и в этом деле их личного спасения (а стало быть, и огромной общественной выгоды) «кружок», единение, взаимная поддержка и взаимный контроль сыграли огромную роль. Белинский был несправедлив, когда по распадении кружка, живя уже в Петербурге, писал в одном письме: «Я от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного, в котором несколько человек взаимно делали счастье друг друга и взаимно мучили друг друга». Очевидно, это слишком субъективная оценка, под влиянием боли еще не заживших ран. Но дело было не в этих ранах, равно как и не в «счастьи», доставляемом кружком, а в его умственно-развивательной и нравственно-предохраняющей роли.

«Белинский, – пишет Пыпин, – не занимал в кружке первого места: он уступал одним в силе теоретической мысли, другим – в объеме сведений, но, конечно, превышал всех энергией чувства, искренностью и полнотою убеждения, с какими он в каждом данном моменте отдавался своим идеям и которые сделали то, что именно он из целого кружка и явился в литературе его представителем».

Все это справедливо, за исключением, однако, того замечания, что энергия чувства и полнота убеждения сделали Белинского литературным представителем кружка: не энергия, а огромный литературный талант доставил ему эту роль представителя и выразителя, – талант, которым Белинский далеко превосходил всех без исключения членов московского кружка. Энергия чувства и полнота убеждения – только элементы таланта, но далеко не вся его сущность. Член кружка, обозначаемый обыкновенно Пыпиным инициалами, едва ли уступал Белинскому в энергии убеждения, но он плохо владел литературной формой, которой Белинский, наоборот, обладал в совершенстве. Можно знать превосходно историю и теорию музыки, не будучи музыкантом, но, не имея голоса, нельзя быть певцом. Можно сказать с полною уверенностью, что, если бы в составе кружка не было Белинского, кружок не получил бы и четвертой доли того общественно-исторического значения, какое за ним признается именно благодаря тому, что он имел в лице Белинского высокоталантливого популяризатора своих воззрений и теорий. Сколько бы ни защищал Пыпин Станкевича и как бы сам Белинский ни превозносил своего друга, остается совершенно несомненным, что Станкевич был не более как «муж госпожи Тедеско», интимный друг *нашего* друга, авторитет *нашего* авторитета.

Вычеркните из биографии Белинского даже самое имя Станкевича, и она только сократится на несколько эпизодов, ни на волос не утративши своего значения; но вычеркните из биографии Станкевича имя Белинского, и она потеряет почти всякий *raison d'être*.^[5] «По какому случаю шум?» – с полным правом спросим мы тогда. Кто такой господин Станкевич? В чем заключаются его общественные заслуги? Да, мы согласны, что Белинский «не занимал в кружке первого места», как не занимал его и в школе. Но как о чембарском уездном училище и его учителях мы говорили потому только, что там учился *не первый ученик* Белинский, так, или, по крайней мере, в известной степени так, мы рассуждаем теперь и о московском кружке потому, главным образом, что в нем был Белинский, не занимавший в нем «первого места». Белинский не был бархатно мягок, как Станкевич, не умел импонировать публике, как Бакунин, не бахвалился и не лез на пьедестал, как лез самый молодой – из молодых да ранних – член кружка, а эти качества, сами по себе или безразличные, или прямо отрицательные, зачастую сильнее всего содействуют получению «первого места». Станкевич был всеобщим любимцем и конфидентом своих друзей, его роль была ролью некоторого нравственного центра и цемента кружка. С большим вероятно можно сказать, что без него не было бы и кружка, но, однако, и без кружка мы имели бы тех же: критика Белинского, профессоров Грановского и Кудрявцева, и т. д.

Кроме Станкевича, Белинский очень близко сошелся с В. Боткиным, влияние которого на него было довольно значительным. Человек бесспорно очень умный и начитанный, Боткин в нравственном смысле принадлежал к числу тех «благороднейших» людей, которые сияют благородством лишь до первого серьезного испытания и за которых никогда нельзя поручиться, что они не кончат совершенно иным образом. Это люди с воззрениями, но без убеждений. Они достаточно умны для того, чтобы самостоятельно составить для своего обихода отчетливый взгляд на какое угодно сложное явление, но судьбою этого взгляда они дорожат не более, чем судьбою мягкого дивана, на котором они, философствуя, возлежат. Нет эгоистов хуже них, и нет эпикурейства более надменного и злостного, нежели их самоуслаждающееся существование. В недавно опубликованных (в «Русском обозрении») письмах Тургенева к Фету есть следующее замечательное место. «Получил, – пишет Тургенев, – от этого франта (т. е. от Боткина) письмо из Парижа, в котором он меня уведомляет, что едет в ноябре в Петербург и что у него происходит бурчание в животе». Тут полная характеристика Боткина. «Бурчание в животе» – это для Боткина такой факт, о котором стоит подумать, который стоит записать и о котором

стоит сообщить своему другу как о деле большой важности. И это для Боткина логично. Кто ставит себя центром мира (как всякий последовательный эгоист), тот не может не придавать огромного значения состоянию своего собственного центра.

В нашей характеристике нет ни малейшей утрировки, и мы могли бы, если бы имели достаточно места, обосновать ее документально. И вот такой-то человек, вместе со Станкевичем, пользовался интимною дружбою, доверием и уважением Белинского и влиял на него! Мы вовсе не намерены изображать Белинского в виде какого-то ротозея, который мог глядеть чужими глазами и думать чужим умом. Однако сам Белинский сказал: «Я брал мысли готовые как подарок; но этим не все оканчивалось, и при одном этом я ничего бы не приобрел: жизнью моею, ценою слез, воплей души, усвоил я себе эти мысли, и они вошли глубоко в мое существо». Позволительно спросить, чем вызывались эти слезы, какая была причина этих воплей души? Эти слезы отнюдь не были радостными слезами неопита, впервые узревшего истину, – эти слезы были свидетельством мучения благородной природы и любвеобильного сердца, восстававших против насильственно к ним прививаемых учений.

Чего стоило Белинскому это насилие, во имя мнимых велений разума, над своей натурой и над своими интересами, видно из его следующих слов: «Я мало принес жертв для мысли, или, лучше сказать, только одну принес для нее жертву – готовность лишаться самых задушевных субъективных чувств для нее». *Мало жертв, одну жертву* – это, попутно заметим, характеризует постоянный, а не случайный взгляд на самого себя. Это было не то смирение, которое паче гордости, не гоголевское, например, фарисейское смирение, это было выражение преклонения перед идеалом, в сравнении с которым, конечно, всякий человек мал и всякие труды и жертвы недостаточны, это было, наконец, выражение того горького сознания ограниченности человеческих сил, которое давным-давно уже имело знаменитую формулу: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Но греческий мудрец говорил об этом со спокойным объективизмом, а наш «великий самоучка» говорил то же самое с покаянным чувством самоосуждения. Но это – в скобках. Итак, одна жертва, которая заключалась... в чем? В отказе от «самых задушевных субъективных чувств»! В переводе на простой язык это значит вот что: единственная *малая* жертва Белинского состояла в подавлении своей совести. «*Задушевные субъективные чувства*», о которых говорит Белинский, – это чувство сострадания к тому, что «несчастно, голодно и бедно, что ходит голову склоня», чувство справедливости, чувство, наконец, своего

личного, «разумною» действительностью оскорбляемого достоинства, – словом, все чувства и инстинкты альтруистического свойства, совокупность которых и есть то, что мы называем совестью. Вот какой *малою* ценою доставались Белинскому его воззрения, вот к каким нравственным результатам привело его слепое доверие к верховенству отвлеченной мысли, не согретой лучом непосредственного человеческого чувства. Мы приведем из писем Белинского, напечатанных в книге Пыпина, два отрывка, в которых хорошо резюмируются его тогдашние философские и политические взгляды. Вот – документ:

«Вне мысли все – призрак, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты сам? Мысль, одетая телом: тело твое сгниет, но твое я останется; следовательно, тело твое есть призрак, мечта, но я твое существенно и вечно. Философия – вот что должно быть предметом твоей деятельности. Философия есть наука идеи чистой, отрешенной; история и естествознание суть науки идеи в явлении. Теперь спрашиваю тебя: что важнее – идея или явление, душа или тело? Идея ли есть результат явления или явление есть результат идеи? Без сомнения, явление есть результат идеи. Если так, то можешь ли ты понять результат, не зная его причины? Может ли для тебя быть понятна история человечества, если ты не знаешь, что такое человек, что такое человечество? Вот почему философия есть начало и источник всякого знания, вот почему без философии всякая наука мертва, непонятна и нелепа. Только в ней (в философии) ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она дает мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя. Ты будешь не в мире, но весь мир будет в тебе. В самом себе, в сокровенном святилище своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогий и тесный кабинет будет истинным храмом счастья. Ты будешь свободен, потому что не будешь ничего просить у мира, и мир оставит тебя в покое, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас в России не имеет смысла, и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства, – тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страной в мире».

Что тут сказать? Можно сказать, пожалуй, а'la Собакевич, что тело человеческое – «нет, не мечта»; можно сказать далее, что философия,

награждающая философа таким «счастьем», при котором приходится «лишаться самых задушевных субъективных чувств», – философия чрезвычайно подозрительная и «счастье», даваемое ею, хуже всякого несчастья; можно заметить еще, что, конечно, «если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства», то Россия «сделалась бы счастливейшею страной», – это просто, как азбука, и верно, как таблица умножения. Но лучше все-таки эти совершенно верные мысли предоставить в собственность Манилова и Кифы Мокиевича. Многое еще можно было бы сказать по поводу приведенного отрывка, но для характеристики достаточно и сказанного. Обозвав «пустыми головами» всех русских людей, занимающихся политикой, Белинский представляет, однако, и свою политическую программу:

«Россия не из себя разовьет свою гражданственность и свою свободу, но получит то и другое от своих царей, так, как уже много получила от них того и другого. Правда, мы еще не имеем прав, мы еще рабы, если угодно; но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россия еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу – значит погубить его. Дать России, в теперешнем ее состоянии, конституцию – значит погубить Россию! В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля – озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабаки побежал бы он пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах, хотя бы, впрочем, у большей части этих дворян не было ни дворянских грамот, ни копейки денег. Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции. Во Франции были две революции и результатом их – конституция, и что же? В этой конституционной Франции гораздо менее свободы мысли, нежели в самодержавной Пруссии. И это оттого, что свобода конституционная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настает в государстве с успехами просвещения, основанного на философии, на философии умозрительной, а не эмпирической, на царстве чистого разума, а не пошлого здравого смысла. Гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретает сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия. Итак, оставим идти делам, как они идут, и будем верить свято и непреложно, что все идет к лучшему, что существует одно добро, что зло есть понятие

отрицательное и существует только для добра, а сами обратим внимание на себя, возлюбим добро и истину, путем науки будем стремиться к тому и другому».

Приведя эти письма, Пыпин весьма уместно напоминает, что «это примирительное направление, это довольство русской действительностью высказалось именно тогда, когда эта действительность была к Белинскому всего суровее, потому что в это время его материальные обстоятельства были ужасны». Хорошей иллюстрацией к этому замечанию Пыпина может служить одна сцена, рассказанная Панаевым в его «Воспоминаниях о Белинском». Белинский приготовил для «Отечественных записок» статью, которую и прочитал Панаеву, приехавшему на то время в Москву.

«Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически.

– Удивительно! Превосходно! – повторял я во время чтения и по окончании его. – Но я вам замечу одно...

– Я знаю что, – не договаривайте, – перебил меня с жаром Белинский, – меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убеждения, что бы обо мне ни думали...

Он начал ходить по комнате в волнении.

– Да! Это – мои убеждения, – продолжал он, разгораясь более и более. – Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мне дорожить мнением и толками черт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев, – вы ведь еще меня мало знаете...

Он подошел и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.

– Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем... Мне легче умереть с голода – я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унижить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною...»

Хотелось бы нам, чтобы эта сцена также «врезалась в память» и нашего читателя... Это было бы хорошо не только потому, что личность

Белинского получила бы верное освещение, но также и потому, что всем и всегда полезно воочию увидеть, что, действительно, не единым хлебом живет человек, что идеальные интересы – не выдумка и не фраза, что «жив Бог наш и жива душа наша». В эпохи, когда равнодушие к истине является основной характеризующей чертой, – это полезно в особенности.

Строй идей, овладевших Белинским в этот период его развития, отразился на его литературной деятельности гораздо слабее, чем можно было ожидать. Этому способствовал целый ряд обстоятельств, из которых мы укажем на два, по нашему мнению, наиболее важных. Внутренний огонь, сжигавший Белинского, та потребность высказаться, которая сопровождает каждое действительное убеждение, в значительной степени удовлетворялась Белинским не путем литературной проповеди, а посредством интимной беседы и переписки со своими друзьями – главным образом с Боткиным и Станкевичем. Письма Белинского к этим лицам достигали иногда размера целых статей, в которых он давал полную волю и своей мысли, и своему языку.^[6] Другое обстоятельство заключалось в особенностях тогдашней литературы. Белинский как критик был чрезвычайно счастлив в том отношении, что современная ему русская литература блистала богатством первоклассных художественных талантов: Пушкин был в полном развитии сил, только что сошел со сцены Грибоедов, выступили Гоголь, Кольцов, Лермонтов, а вскоре за ними Тургенев, Некрасов, Григорович, Гончаров, Достоевский, не говоря уже о второстепенных поэтах, как Полежаев, и второстепенных беллетристах, как Панаев. Какое неистощимое поле для критики, какое богатство благодарнейших тем! Белинский рассматриваемого нами периода, согласно общему духу своего тогдашнего мирозерцания, держался в критике принципов чистой эстетики. Его девиз был – «искусство для искусства», его основным требованием было требование от художника объективности. Казалось бы, каких добрых результатов можно было ожидать от критики, построенной на столь мертвенных началах? И, однако же, деятельность Белинского в московских журналах имела огромное значение. Не о том говорим мы, что статьи Белинского, страстно-одушевленные, патетические, действовали на читателя, независимо от своего содержания, самым тоном своим, возбуждали деятельность мысли, зажигали сердца и умы – это подразумевается само собою. Мы утверждаем, что критика Белинского того времени принесла огромную пользу по самому содержанию своих учений, несмотря на их ошибочность. Основная задача, стоявшая тогда в литературе на очереди, состояла в том, чтобы расчистить путь тому реалистическому направлению, которое, в лице Гоголя, делало свои

первые, неуверенные шаги. Сущность и будущее общественное значение этого направления предугадать в то время было слишком мудрено, но были и тогда люди, которые почувствовали «новое слово» в столь, по-видимому, бесхитростных безделках, как первые повести Гоголя, – и впереди всех среди этих людей стоял Белинский. Как эстетик он доказывает в «Телескопе» (статья «О русской повести и повестях Гоголя»), что повести Гоголя – эстетически прекрасны, художественны, что «Гоголь – поэт, поэт жизни действительной» и т. д. Это и было как раз то, что требовалось. Надо было привлечь внимание и сочувствие общества к новому явлению – и это Белинский сделал своими критическими статьями. Надо было далее оборонять литературного новатора (сам по себе Гоголь был совершенно незащищен) от злобных нападок литературных староверов и их прихвостней – и это Белинский сделал, с большим полемическим усердием и большой ловкостью, осмеивая литературных противников Гоголя. Белинский остался бы непонятым и неуслышанным, если бы, опережая время, стал говорить о картинах русской жизни Гоголя не как о картинах, не как только и исключительно о художественных произведениях, а об их содержании, их горьком внутреннем смысле. К счастью, да, к счастью, поклоннику «разумной» действительности слишком мудрено было прозреть этот смысл в фигурах Пирогова, Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича, Пульхерии Ивановны и т. д. Он толковал об их общечеловеческом содержании, восхищался «народностью», оригинальностью, юмором Гоголя, и пока этого было вполне достаточно. Для того, чтобы подойти к вопросу: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь!», надо было прежде признать, что в «разумной» действительности не все разумно, – а это было у Белинского еще впереди.

Глава VI. Жизнь и деятельность Белинского в Петербурге

Мы упоминали уже о том, что после запрещения «Телескопа» Белинский взялся за редактирование «Московского наблюдателя» – захудалого журнальца, издававшегося неким Степановым, человеком, совершенно чуждым литературе. Журнал не пошел, денег на издание не было, и положение Белинского было безвыходным. Краевский как раз в это время организовал редакцию для приобретенных им от Свиньина «Отечественных записок», и Белинский обратился к Панаеву, хорошо знавшему Краевского, с просьбой сблизить его с новым журналом. Рассказ Панаева об этом дышит такой правдой и так хорошо обрисовывает еще одну сторону Белинского – его крайнюю непрактичность, – что мы не пожалеем для него здесь места. Вот этот рассказ.

«– Нет, – сказал Белинский, – мне во что бы ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида Краевского?»

Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о гибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в «Отечественных записках». Я не скрыл от него, как Краевский отзывается о нем.

– Он вполне надеется, – прибавил я, – что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.

Белинский горько улыбнулся.

– Ну, нечего сказать, хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич – бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать, ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем напишите ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о «Менцеле» – и расхвалите ее, разумеется, как можно больше и что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана, – ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним, да обделайте это дело половчее... Не говорите ему о моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня».

Какая, подумаешь, необычайная «тонкость обращения»! Сколько дипломатии обнаруживает этот критик Макиавелли и каково придется бедному редактору в сношениях с таким хитрейшим сотрудником! Панаев сделал свое дело, и как только Белинский вступил в непосредственные сношения с Краевским, все его белыми нитками шитые хитрости пошли прахом: он сейчас же забрал у Краевского денег вперед на уплату долгов и на отъезд из Москвы и за одну тысячу рублей серебром в год принял на себя весь критический и библиографический отдел «Отечественных записок». Вот это называется ловко обделать выгодное дело! Андрей Краевский не имел ни малейшей роли в развитии понятий и идей Белинского, и мы на его личности останавливаться не намерены. Это был не мыслитель, а делец; не литератор, а литературный антрепренер. Его отношения к Белинскому совершенно походили на отношения главноуправляющего к Пьеру Безухову в романе «Война и мир» Толстого: «главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимал умного и наивного графа и играл им, как игрушкой». Белинский был наивен, как дитя, и Краевскому не составило никакого труда превратить его в клячу, в щедринского «конягу» своего журнала – конягу, которому надо только приговаривать: «Но, но, каторжный!» да изредка подсыпать овсеца, чтобы он влег в хомут изо всех своих сил. В Краевском была та хорошая черта, что в глубине души он знал свой шесток и, умеренно и аккуратно гешефтмахерствуя,^[7] не лез на пьедестал, не претендовал на идейное руководство, не стремился к нравственному главенству. Он поступил наоборот: Белинский дебютировал в его журнале крайне резкими статьями в духе своего московского настроения – и Краевский похваливал их. В Белинском произошел идейный перелом, и он начал писать статьи совершенно в противоположном направлении – Краевский и эти статьи одобрял. С точки зрения Краевского он нисколько не противоречил себе: ведь и те, и другие статьи Белинского представляли собою ходкий товар, а это только и нужно было антрепренеру. За Краевским, во всяком случае, остается серьезная заслуга организатора журнала, в котором могли высказаться Белинский и его друзья, и хотя последнее совершилось не только помимо воли, но и помимо сознания организатора, тем не менее не будь Краевского, не было бы журнала. Самая прекрасная девушка не может дать больше того, что сама имеет, как говорит французская пословица, и неужели было бы лучше, если бы Краевский употребил данные ему Богом таланты на организацию не журнала, а какого-нибудь увеселительного заведения? Всякий свое получил: Краевский – деньги, Белинский – любовь и уважение нескольких

поколений. Желчные обвинения, высказанные Панаевым в адрес Краевского, главным образом, из-за Белинского, не имеют под собой никакого основания.

Переезд Белинского в Петербург состоялся в октябре 1839 года. Пыпин хорошо оценивает значение этого переезда для Белинского. «Петербург, – пишет Пыпин, – прежде всего отрывал Белинского от тесного кружка, в котором до тех пор сосредоточивалась его жизнь, и внешняя, и внутренняя, и который так способствовал развитию и укреплению его крайне идеалистического настроения. Эта жизнь в кружке уже исчерпывала себя к концу пребывания Белинского в Москве; личные раздоры были признаком, что в кружке появилось что-то ненормальное, натянутое; необходимо было освежение после душного воздуха идеалистической экзальтации, выход в простую реальную жизнь. Переселение в Петербург было кризисом. Он был мучителен для Белинского, потому что надо было отказаться от давней привычки, становившейся второй природой, отказаться от постоянных личных связей, где, кроме пищи идеализму, Белинский находил себе и искреннее сочувствие, в котором так нуждался. В Петербурге его окружали новые люди; он встречал и от них много искреннего расположения, но для дружбы с ними не было у него тех „исторических оснований“, которые он считал необходимыми и которые действительно для нее необходимы. Нужно было время, чтобы он освоился с новой обстановкой».

Сказано справедливо. Но более важное указание Пыпина на сущность переворота, вскоре происшедшего во взглядах Белинского, требует и серьезной поправки. Пыпин говорит: «Основная черта этой внутренней жизни заключается именно в том, что для Белинского все больше и больше разъясняется фантастическое преувеличение его прежней точки зрения и раскрывается иной взгляд на вещи, который наконец и становится его господствующим воззрением. Весь этот перелом произошел в течение первого же года его пребывания в Петербурге, и произошел в нем самостоятельным развитием: посторонние влияния, которые действовали до известной степени, были только поводом, а главной причиной перелома было его собственное развитие, встреча с непосредственной действительностью, которой до того времени он не видел за философскими фантазмагориями московского кружка. На него подействовали не столько теоретические возражения, сколько сама жизнь, и, раз ее увидев, раз над нею задумавшись, он сам переделал всю систему своих понятий...» Петербургская действительность, будто бы отрезвившая Белинского от его оптимизма, разумеется, очень мало отличалась от московской действительности, так что приписывать ей первую роль в деле умственного

переворота, происшедшего в Белинском, очевидно, нет оснований. Наоборот, по крайней мере со стороны внешней культурности и внешнего блеска, петербургская жизнь могла бы примирить с собою поверхностного наблюдателя, как это часто и бывало на самом деле. Известная, например, иллюзия нашего государственного «могущества» очень привлекательна...

Не потому Белинский эмансипировался от «философских фантазмагорий» кружка, что физически разлучился с ним, а потому, и только потому, что к этому привел его процесс его развития. С полной уверенностью утверждаем мы, что если бы Белинский остался в Москве и в состав кружка вошли бы еще несколько новых Станкевичей и Боткиных – результат был бы тот же самый, Белинский пережил эту фазу развития, перерос кружковую философию – вот вся история его умственного переворота, происшедшего единственно и исключительно в силу внутренних мотивов и процессов. Белинский принадлежал к числу тех натур, которые развиваются пусть болезненно и трудно, но непрерывно, развиваются (вспомним, например, Салтыкова) даже тогда, когда начинается упадок физических сил. Вспомним еще раз слова Белинского, что ему, ради философии, приходилось «жертвовать самыми задушевными субъективными чувствами своими». Для людей отвлеченной и пассивной благожелательности, каким был Станкевич, или для людей индифферентных, как Боткин, такой разлад с самим собою, такой диссонанс между мыслью и непосредственным чувством был нечувствителен. Великое преимущество Белинского над всеми его друзьями состояло (помимо литературного таланта) именно в активности его совести, в том, что он жаждал не только истины, но и справедливости. Будучи человеком, он не мог быть только «головастиком». Состояние кризиса, в котором находился Белинский, прекрасно выражено им в одном из его писем. «Мне, – писал Белинский, – теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия, – потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что или мне надо стать тем, чем я должен быть, или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастье... Но я не могу и спиться. Мне остается одно: или сделаться действительным, или до тех пор, пока жизнь не погаснет в теле, петь вот эту песенку -

Я увял, и увял
Навсегда, навсегда,
И блаженства не знал
Никогда, никогда!»

Вот как заговорил человек, который еще так недавно толковал о «мире», «гармонии» и «счастьи», добытых им путем отвлеченной мысли. Столь упорно и долго подавляемые «задушевные субъективные чувства» взяли наконец верх над диалектическими построениями – и в этом состояла *нравственная* сторона овладевшего Белинским кризиса.

Идейное содержание нового направления Белинского определить еще легче. Строго говоря, формулу этого направления Белинский мог бы почерпнуть из той же гегелевской философии, которую он исповедовал и которую – как оно и было на самом деле – можно было истолковывать до того различно, что «гегельянцы» – последователи одного и того же учителя – разошлись в разные стороны и относились друг к другу с решительной враждебностью. «Что действительно, то разумно» – вот как резюмировались московские воззрения Белинского. «Что разумно, то действительно» – вот та формула, которая с достаточной полнотой могла бы выразить воззрения Белинского петербургского периода. «Что *разумно*» – т. е. все, что допускается мыслью, все формы жизни, все идеалы и общественные построения, мыслимые нашим разумом, суть *действительны* – не в смысле реальностей, а в смысле возможностей. Очевидно, что в *этих* рамках нет ни малейшего стеснения для «задушевных субъективных чувств», нет никаких поводов к разладу между разумом и любовью. Напротив, в последнем своем выражении и развитии эта формула – «что разумно, то действительно» – превращается логически в следующую: «что нравственно и справедливо, то разумно, что разумно, то действительно». Читатель, надеемся, без труда сообразит, что такая формула не к квиетизму^[8] ведет, а призывает к деятельности, открывает горизонты и перспективы почти бесконечные. Белинский, например, с первых же шагов в новом направлении решил, что он «совсем не автор для *немногих*», каким он хотел быть прежде, что он должен писать не для друзей, а для публики.

Переворот произошел в Белинском, конечно, не вдруг, а мало-помалу, как процесс органический, а не механический. В письмах, приведенных в книге Пыпина, можно почти шаг за шагом проследить развитие этого процесса. Вот, например, что он писал из Петербурга Боткину:

«Да, по-прежнему брезгаю французами... но идея общества обхватила меня крепче – и пока в душе останется хотя искорка, а в руках держится перо, – я действую. Мочи нет, куда ни взглянешь – душа возмущается, чувства оскорбляются. Что мне за дело до кружка – во всякой стене, хотя

бы и не китайской, плохое убежище. Вот уже наш кружок и рассыпался, и еще больше рассыплется, а куда приклонить голову, где сочувствие, где понимание, где человечность? Нет, к черту все высшие стремления и цели! Мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схему, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить... Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку „О. з.“. Я – литератор, говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупеть, чтобы расейская публика лучше понимала меня; благодаря одуряющему влиянию финских болот и гнусной плоскости, на которой основан Питер, надеюсь вполне успеть в этом...»

По поводу этого отрывка сделаем мимоходом одно замечание, касающееся вообще всей переписки Белинского. Письма Белинского – замечательные литературные произведения, более замечательные, нежели его печатные статьи. Непринужденный тон этих писем, неожиданные переходы от горького сарказма к веселой шутке, меткие эпитеты, прелестные сравнения, иногда лучше всяких общих определений представляющие предмет, – все это дает истинную мерку того, как мог бы писать Белинский при более благоприятных условиях. Заслуга Пыпина, разыскавшего и напечатавшего эти письма, – заслуга, можно сказать, незабвенная. В другом письме, написанном около того же времени, Белинский жалуется на овладевшую им апатию – вернейший признак и неизбежный спутник всяких серьезных переломов, как личных, так и общественных, – но тут же намекает и на возможность исцеления: «Мне, – пишет он, – остается одно: объективный интерес моей литературной деятельности. Только тут я сам уважаю себя... потому что вижу в себе бесконечную любовь и готовность на все жертвы, только тут я и страдаю, и радуюсь не о себе и не за себя, только тут моя деятельность торжествует над ленью и апатией. И потому я больше горжусь, больше счастлив какою-нибудь удачною выходкою против Булгарина, Греча и подобных... нежели дельною критическою статьею... Видно, и в самом деле я нужен судьбе как орудие (хоть такое, как помело, лопата или заступ), а потому должен отказаться от всякого счастья, потому что судьба жестока к своим орудиям – велит им быть довольными и счастливыми тем, что они – орудия, а больше ничем, и употребляет, пока не изломаются, а там бросает. Так и я: в жизни... помучусь, поколочусь... а там... погружусь в мировую субстанцию и в ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди!..»

Прошло еще немного времени, и Белинский делает новый шаг в том же направлении: «С французами я помирился совершенно: не люблю их, но

уважаю. Их всемирно-историческое значение велико. Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере. Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснотушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнушно, грязно, подло».

Еще несколько месяцев усиленной внутренней работы, перемежавшейся припадками настоящего отчаяния – и «неистовый Виссарион» начинает неистовствовать с прежнею силою, но уже совершенно на другой мотив.

Как бы то ни было, соглашение произошло – и «Отечественные записки» (редактор которых благоразумно и тактично оставил в своем ведении только административную и экономическую часть дела) сделались центром и органом всего передового, талантливое и живое в нашей тогдашней литературе. Идея личности и ее прав, не в духе отвлеченно морального гуманизма, а в смысле задачи простого общественного благоустройства, в смысле требования, вытекающего из самой природы всякого общежития – эта плодотворная идея всецело овладела Белинским. Он развивал эту идею на почве эстетических вопросов и в форме анализа чисто литературных явлений, и то же самое делали его сотрудники-друзья в других сферах мысли и науки. Благодаря этому журнал достиг редкого единства направления и благодаря единству приобрел огромное умственное влияние на общество. В одном из своих писем к Боткину *после* перелома Белинский с прелестной шутливостью, но и с замечательной ясностью и глубиной определяет все содержание своего нового мирозерцания. «Ты, – пишет он Боткину, – я знаю – будешь надо мною смеяться... (это, в скобках сказать, хорошо характеризует Боткина); но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира! Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься, падай – черт с тобою – таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель), – кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по

крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить свою участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом все, – и конца не будет». От этой шутливости веет бодростью, и Белинский чувствовал себя в это время так, по-видимому, хорошо и мирно, что даже об известных русских общелитераторских огорчениях сообщает с добродушным юмором: «в „О. з.“ напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это точно о Петре Великом и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати – это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии».

Такое мирное настроение Белинский, однако, сохранял только для приятелей. В журнале он вел упорную борьбу с противниками своих мнений, которые в это время (1841 г.) успели обзавестись еще одним органом – «Москвитянином», издававшимся под редакторством Погодина и Шевырева. Полемика была вообще одною из любимых стихий Белинского, а в данном случае он тем охотнее бросился в борьбу, что Погодин и Шевырев были все-таки более приличные противники, нежели Булгарин и Греч, и что московский журнал явился выразителем тех самых тенденций, которые только что отвергнул Белинский, но тенденций, доведенных до уродливой исключительности. Идеальный, общефилософский элемент был изгнан из этих тенденций, и они сводились к превознесению не действительности вообще (как это было у Белинского), а действительности национальной. Казалось бы, оно довольно безобидно: всяк кулик свое болото хвалит, как говорит пословица. Но дело, конечно, не могло остановиться на платоническом национальном бахвальстве, а развилось в целое учение, которое тогда называли славянофильским, но которое вернее было бы назвать просто русопятским. Полемика эта продолжалась, однако, недолго, ввиду солидности тех аргументов, которые «москвитяне» выдвинули против Белинского после первой же его статьи о них. «Смотрите, чтобы не было вам какой беды...», – писал впопыхах Боткин в редакцию «Отечественных записок» и сообщал факты, которые действительно пахли «бедою». Позднее, в 1842 году, при появлении первой части «Мертвых душ», Белинский дал славянофилам в лице Константина Аксакова, своего бывшего приятеля и единомышленника, генеральную битву, которая, впрочем, была только эпизодом общей борьбы, разгоревшейся тогда между «западниками» и славянофилами и, в сущности, продолжающейся до сих пор.

Русский человек в большинстве своих слабостей (беспечности,

беспорядочности, нерегулярности), как и в большинстве своих достоинств (альтруистичности, сердечной нежности и мягкости, скромности), Белинский в формальном смысле по-русски и работал: полосами и запоями. Дни и недели проходили в письменных и устных беседах с приятелями, в игре в преферанс и т. д. – «глядь, уж и 15-е число на дворе, Краевский рычит, у меня в голове ни полмысли, не знаю, как начну, что скажу, беру перо и статья будет готова – как, я сам не знаю, но будет готова».

Это признание характеризует нечто гораздо большее, нежели простые приемы работы. Дело в том, что сила таланта Белинского заключалась не столько в доказательности его доводов, сколько в убедительности его тона, того постоянного одушевления, с каким он говорил о предмете. Сердце автора давало весть сердцу читателя. А для этого не требовалось ни строгой обдуманности общего плана работы, ни соразмерности частей, ни особой чистоты языка, а требовалось, чтобы автор в каждую минуту и на каждой строке был самым собою, не насиловал ни своего ума, ни своей совести, – условие страшно трудное и невыгодное для всех, кроме таких людей, как Белинский. Белинскому не надо было замечать никаких своих следов, не надо было прятать никаких своих хвостов: он *сердился* на свои прошлые ошибки, но не *стыдился* их – и по праву, потому что ведь, и ошибаясь, он оставался все тем же алчущим и жаждущим правды человеком, каким был по натуре. И вот почему его статьи-импровизации сплошь да рядом выходили удачнее, убедительнее, *действительнее*, нежели его более обдуманные работы. Для его впечатлительной природы достаточно было небольшого внешнего побуждения, чтобы душа его «встрепенулась, как пробудившийся орел», и, раз начавши работу, возбуждаемый ее процессом, он не только быстро справлялся с нею, но благодаря ей подготавливал незаметно для самого себя и новые темы, и новые идеи, и новые доводы для будущего. Развивая свои идеи, он развивался сам. Счастливая способность, свойственная всем очень даровитым людям, – ассоциировать и обобщать постоянно раздвигала его умственные горизонты. Он мог сказать об идеях то, что сказал Пушкин о рифмах: «две придут сами, третью приведут». А внешние, нужные ему импульсы заключались в самом его положении литературного батрака. «Я – Прометей в карикатуре: „Отеч. записки“ – моя скала, Краевский – мой коршун»; эта забавная шутка Белинского, конечно, не отражала истинного положения дела: коршун Прометея мучительствовал бессмысленно и бесплодно; но коршун Белинского, заботясь о своих интересах, работал на пользу общественную. Более чем вероятно, что без этого «коршуна», без его

хозяйских прав над Белинским немалая доля той нервной силы, которая вложена в статьи Белинского, была бы ухлопана на бесчисленные пульки в преферанс, о своем пристрастии к которому Белинский писал в Москву: «страсть моя к преферансу ужасает всех. Я готов играть утром, вечером, ночью, днем, не есть и играть, не спать и играть».^[9]

В конце 1843 года Белинский женился на москвичке, сближение с которой произошло летом того года, в одну из его поездок из Петербурга для свидания с московскими друзьями. «Важность этого события для Белинского, – говорит Пыпин, – должна быть ясна читателю из того, что мы знаем о его нравственном настроении в эти годы». Огромная значимость женитьбы для Белинского вытекала не из какого-либо частного, временного, нравственного его настроения, а из всех свойств натуры и характера. Для людей, подобных Белинскому, находящихся в состоянии постоянного возбуждения, радостного или горестного волнения даже по поводу ничтожнейших мелочей, – мир и покой тихой семейной жизни был бы самой лучшей обстановкой в смысле, если так можно выразиться, нравственной гигиены. Белинскому была нужна не Далила, а Пенелопа, и притом такая, которая, кроме хозяйственных талантов и «волооких» очей, имела бы хоть смутное понятие о значении своего Улисса и судила бы о нем не по-камердинерски. К сожалению, этот существенно важный пункт биографии Белинского остается неясным. Госпожа Белинская умерла только в 1890 году, пережив своего мужа на сорок с лишним лет, и Пыпин по чувству понятной деликатности воздержался от опубликования переписки Белинского с друзьями, касавшейся семейной жизни нашего критика. Пыпин только глухо говорит, что «у домашнего очага началась для Белинского новая жизнь, с ее особыми интересами и тревогами»... Ясно, что в «новой» жизни Белинский нашел только «особые» тревоги, хотя и прежних его тревог, нужных и ненужных, осмысленных и неосмысленных, было более чем достаточно для такого «сосуда скудельного», каким был его физический организм.

В конце 1845 года Белинский, так много и плодотворно поработавший для «Отечественных записок», должен был оставить этот журнал из-за каких-то несогласий с его редакцией. Конечно, в этих несогласиях гораздо меньше удивительного, нежели в шестилетнем «согласии» между такими антиподами, как Белинский и Краевский. На вопросы своих московских друзей – как должны смотреть они на этот разрыв, – Белинский писал: «отвечаю утвердительно: радоваться; дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тупею со дня на день.

Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые

общие места и казенная манера писать обо всем. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без «Отечественных записок», может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много».

Само собою разумеется, что Краевский совершенно не догадывался о значении Белинского, смотрел на него как на литературного чернорабочего и заваливал работой, которая была ниже его достоинства. Белинский был в его глазах только чуть-чуть побольше нежели метранпаж типографии, – и, повторяем, нужно только удивляться долготерпению критика, шесть лет проработавшего при таких условиях. «Дельные предприятия и затеи» Белинского, конечно, не удались и не могли удалиться по совершенной непригодности его к практическим делам, но как раз в это время пушкинский «Современник», пришедший в совершенный упадок под редакцией Плетнева, перешел в руки Панаева и Некрасова – друзей и почитателей Белинского. Некрасов был практиком не хуже Краевского, но он был, кроме того, первоклассным писателем, и Белинский мог бы работать в журнале, не тревожась за редакционную сторону дела. Но было поздно. Песня Белинского была почти спета.

Еще в 1846 году московские друзья, ввиду тяжелого состояния его здоровья, устроили ему поездку на юг России. В следующем году они же нашли средства для отправления его за границу. Ни та, ни другая поездки не принесли здоровью Белинского ни малейшей пользы, да несколько не освежили его и в нравственном смысле. Дело в том, что никакие новые впечатления не могли заглушить его старых забот, в числе которых забота о «расейской литературе» стояла на первом плане. Живя в Крыму, он не переставал мысленно воевать со своими главными литературными врагами – славянофилами. Один отрывок из его крымских писем мы приведем – не только к удовольствию, но и для пользы читателя:

«Въехавши в Крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительно славянофилами. Но – увы! – в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большей частью носят на голове длинные волосы, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святыя праотческих обычаев времен Кошихина – своего мнения не имеют, буйной

воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом, принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Шевырев и вся почтенная славянофильская братия».

За границей Белинский точно так же думал только об интересах родной литературы и родного общества. Здесь именно написал и отсюда послал он свое знаменитое письмо к Гоголю по поводу книги «Переписка с друзьями», – письмо, которое мы не будем приводить в извлечениях Пыпина, надеясь, что оно известно читателю целиком. Тургенев, бывший «путеводителем» Белинского в Париже, хорошо характеризовал это равнодушие нашего «западника» к культурным чудесам Запада. «Он, – рассказывает Тургенев о Белинском, – изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию... уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидел площадь Согласия и тотчас спросил меня: „Не правда ли? Ведь это одна из красивейших площадей в мире?“ – И на мой утвердительный ответ воскликнул: „Ну, и отлично; так уж я и буду знать, – и в сторону, и баста!“ и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XV; он посмотрел вокруг, сказал: „А!“ – и вспомнил сцену Остаповой казни в „Тарасе Бульбе“.

Возвратившись в Петербург – опять «на оный путь, журнальный путь», – Белинский взялся за работу с особенной энергией. Дело в том, что изнурительная болезнь (чахотка) и ему самому, и его друзьям внушала самые серьезные сомнения в его работоспособности. «Дело прошлое, – писал он потом, когда убедился в неосновательности своих сомнений, – а я исам ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал все, что дано было мне сделать, что я выписался и... стал похож на выжатый и вымоченный в чае лимон. Каково мне было так думать, можете посудить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством. И надежда возвратилась мне с этой статьею».

Надежда была напрасна. Болезнь делала свое разрушительное дело, а тут приспел 1848 год... Белинский продолжал еще работать, но уже принужден был не писать, а диктовать свои статьи и рецензии. К физическим страданиям присоединились тяжелые нравственные

беспокойства, помогавшие болезни. Свеча догорала с обоих концов. «Я, – рассказывает Панаев, – раз зашел к нему утром, это было или в последних числах апреля, или в первых мая. На двор, под деревья, вынесли диван – и Белинского вынесли подышать чистым воздухом. Я застал его уже на дворе. Он сидел на диване, спустя голову и тяжело дыша. Увидев меня, он грустно покачал головою и протянул мне руку, всю покрытую холодным потом. Через минуту он приподнял голову, взглянул на меня и сказал: „Плохо мне, плохо, Панаев!“ Я начал было несколько слов в утешение, но он перебил меня: „Полноте говорить вздор“. И снова молча и тяжело дыша опустил голову».

26 мая 1848 года Белинский умер.

Заключение

О личности Белинского мы все сказали, но о его идеях мы считаем небесполезным сделать два-три заключительных замечания.

Пыпин в своей биографии Белинского говорит: «Для нынешних читателей кажется иногда странной, почти невразумительной та тягостная внутренняя борьба, которую мы старались нарисовать и ценою которой Белинский приходил к своим последним выводам. Дело было, по-видимому, просто, и Белинский, казалось, был очень наивен, когда увлекался так далеко в сторону от идей, принятых им впоследствии».

Панаев, имея в виду московский кружок Белинского, писал: «Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через 20 с лишком лет, кажутся смешными».

Итак, поколению, для которого тридцать лет назад писал Панаев, вопросы, волновавшие Белинского, были «смешны». Читателю, для которого пятнадцать лет назад писал Пыпин, Белинский должен был казаться «очень наивен». Бедный Белинский, смешной, наивный, устарелый, отсталый! Зачем потревожили мы его память? Если тридцать лет назад он был смешон, пятнадцать лет назад – наивен, то чем он должен казаться теперь и какой термин применит к нему современный читатель?

Пусть будет как кому угодно; мы же, со своей стороны, без дальнейших околичностей скажем, что и читателю шестидесятых, и семидесятых, и восьмидесятых годов нужно очень высоко поднимать голову, чтобы заглянуть Белинскому в лицо. Не о дарованиях Белинского и не о нравственной личности его говорим мы – эти достоинства не зависят от времени – мы указываем именно на его будто бы устарелые идеи. Возьмем для примера специальность Белинского – литературную критику. Критика шестидесятых годов, как мы уже имели случай заметить, была не более чем талантливым развитием тех литературных требований и принципов, которые были выработаны Белинским в последний, петербургский, период его деятельности. Современная критика, отвергая эти принципы, выдвигает... что-нибудь новое, свое, вы думаете? Нет, она только возвращается к тем эстетическим принципам, которыми руководствовался Белинский в московский период своего развития и которые он решительно осудил впоследствии. То же самое происходит и с общественными идеями Белинского. Белинский отстал? Мы искренно пожелали бы современным передовым людям нашим в такой же полноте и

с такую же ясностью усвоить себе, например, идею личности, как это мы видим у Белинского. Белинский устарел? О, как обновились и очистились бы наши понятия, если бы мы твердо усвоили мысль Белинского, что народность, исключая из себя человечность, тем самым подписывает себе нравственный приговор! Далеко ли мы уйдем со временем – неизвестно, но пока Белинский не есть только факт истории, а и факт жизни. История умственного развития и умственных переломов Белинского не есть только история личности и даже не история поколения, а выражение нашего общего исторического процесса, с его акциями и реакциями, переходными моментами и промежутками апатии.

ИСТОЧНИКИ

1. *А.Н. Пытин*. Белинский, его жизнь и переписка.
2. *И.М. Панаев*. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском.
3. *С. Неведенский*. Катков и его время.
4. *К.А. Полевой*. Записки.
5. *Свяжский*. В. Г. Белинский. Биографический очерк.
6. *О.Миллер*. Белинский как педагог.
7. *О. Миллер*. Белинский как моралист.

notes

Примечания

1

от *abrutir* – огрублять, отуплять умственно (*фр.*).

Заметим здесь раз и навсегда вот что: чрезвычайно обстоятельная и добросовестная биография Белинского, составленная Пыпиным, почти совершенно лишена критического элемента. Мы считаем нужным указать на это ввиду того, что эта биография положена в основу нашей работы. Все фактические сведения, сообщенные Пыпиным, мы считаем для себя почти обязательными; но выводы из этих сведений, тот свет, в котором представлены факты, мы в огромном большинстве случаев находим неверными и отвергаем их.

3

затруднения от избытка (фр.).

4

северный медведь (*лат.*).

5

смысл; право на существование (фр.).

Значительное количество этих писем собрано и напечатано Пыпиным в его книге о Белинском, которую мы усердно рекомендуем *нашему* читателю.

7

от Geschäftemacher – предприниматель (нем.).

здесь – безучастному, пассивному отношению (*фр.*).

Вот как, например, Кавелин рассказывает об игре Белинского в карты: «Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оплачивалась рублем, двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? Садился он играть с большим увлечением и, если ему везло, был доволен и весел... поставя несколько ремизов, Белинский становился мрачным, жаловался на судьбу, которая его во всем преследует, и наконец с отчаянием бросал карты и уходил в темную комнату».